ХВ

Василий Никифоров-Волгин

Светлая Заутреня

Василий Никифоров-Волгин

Светлая Заутреня

«Сибирская Благозвонница»

УДК 821.161.1-3
ББК 82.2 (2Рус=Рус) 6-44

Никифоров-Волгин В. А.

Светлая Заутреня / В. А. Никифоров-Волгин — «Сибирская Благозвонница»,

ISBN 978-5-00127-287-8

В книге собраны произведения признанного мастера лирической прозы Василия Акимовича Никифорова-Волгина (1900-1941). Рассказы и зарисовки писателя складываются в тихую задушевную песню о России. Во времена беззаконий, гонений, обрушившихся на родную землю, среди моря страданий Волгин отыскивает зёрна христианской любви, рисует персонажей, которые хранят Святую Русь в своём сердце. Это странники, богомольцы, церковнослужители, юродивые, которые утешают страдающий народ, лечат души, очищают сердца. С особой нежностью рисует автор мир ребенка, приобщающегося к Православию. Один из постоянных мотивов Волгина — умиротворение и просветление человека. Вместе со своими героями автор размышляет о таинственных путях русской души, её падении и воскресении.

УДК 821.161.1-3
ББК 82.2 (2Рус=Рус) 6-44

ISBN 978-5-00127-287-8

© Никифоров-Волгин В. А.
© Сибирская Благозвонница

Содержание

Светозарное слово Василия Волгина 6
Свете тихий 10
Крещение 10
Кануны Великого поста 12
Великий поет 15
«Торжество Православия» 17
Двенадцать Евангелий 20
Плащаница 22
Великая Суббота 24
Канун Пасхи 26
Светлая Заутреня 28
Святое Святых 31
Причащение 33
Преждеосвященная 35
Исповедь 37
Тайнодействие 39
Радуница 41
Отдание Пасхи 43
Земля-именинница 45
Певчий 49
Конец ознакомительного фрагмента. 51

Василий Никифоров-Волгин
Светлая Заутреня

© А. М. Любомудров, вступит. статья, 2018
© Издательство «Сибирская Благозвонница», составление, оформление, 2018

* * *

Светозарное слово Василия Волгина

В XX веке в русском зарубежье совершилось событие, уникальное для истории русской литературы: возникла плеяда писателей, твёрдо вставших на почву Православия. Лишённые родины, остро переживающие российскую катастрофу, они открыли «Россию Святой Руси» и воплотили её образы на страницах своих книг. Православная вера стала главным жизненным ориентиром, основой художественного творчества Ивана Шмелёва и Бориса Зайцева, Леонида Зурова и Владислава Маевского, Нины Фёдоровой и Надежды Городецкой, Сергея Бехтеева и Петра Краснова. В этом ряду своё достойное место занимает и самобытный талант Никифорова-Волгина.

Судьба Василия Акимовича Никифорова, писавшего под псевдонимом Василий Волгин, сложилась драматично.

Он родился в Рождественский сочельник 24 декабря 1900 года (по новому стилю 6 января 1901-го) в деревне Маркуши Тверской губернии. Вскоре после рождения сына семья переехала в Нарву. Не имея средств для окончания гимназии, Никифоров занимался самообразованием, хорошо знал русскую литературу, его любимыми писателями были Ф. Достоевский, Н. Лесков, А. Чехов, С. Есенин.

В 1920 году в Нарве Никифоров вместе с единомышленниками организовал «Союз русской молодежи», проводил литературные вечера, концерты. Вскоре он и сам вступил на литературное поприще: в русских периодических изданиях Прибалтики появляются его рассказы, статьи, очерки, этюды, лирические миниатюры, подписанные псевдонимом Василий Волгин. В 1927-м на конкурсе молодых авторов в Таллине он получил первую премию за рассказ «Земной поклон». В эти же годы Никифоров, хорошо знавший и любивший православное богослужение, служил псаломщиком в нарвском Спасо-Преображенском соборе.

Активна и его общественная деятельность: в 1927 году он стал одним из учредителей русского спортивно-просветительного общества «Святогор», при котором были образованы религиозно-философский и литературный кружки, участвовал в съездах Русского студенческого христианского движения, проходивших в Псково-Печерском и Пюхтицком монастырях. Вместе с Л. Аксом редактировал журнал «Полевые цветы» – орган русской литературной молодежи в Эстонии.

Постепенно имя Волгина становится известно в среде всего русского зарубежья, он публикуется в крупной эмигрантской газете «Сегодня». В канун 1936 года писатель переезжает в Таллин, где был избран почётным членом русского общества «Витязь». Сборники его православной прозы «Земля-именинница» (1937) и «Дорожный посох» (1938), вышедшие в таллинском издательстве «Русская книга», потрясли читателей правдивостью и смелостью. Его творчество, как отмечала критика, есть «отражение и отзвук исканий Бога, чистая, горняя мечта по невидимому граду благодати и успокоения»[1].

Жизнь талантливого писателя была оборвана на взлёте. Летом 1940 года в Эстонии установилась советская власть, положившая конец культурной и литературной жизни русской эмиграции. В мае 1941-го Никифоров, работавший на судостроительном заводе, был арестован органами НКВД, а с началом войны отправлен по этапу в г. Киров (Вятка), где 14 декабря того же года расстрелян «за издание книг, брошюр и пьес клеветнического, антисоветского содержания»[2]. Антисоветское же в его творчестве – отнюдь не политика, но глубокая христианская вера. Это тот редкий случай, когда писателя лишили жизни именно за православность его книг.

---

[1] *Пильский П.* [Рец.] // Сегодня. Рига, 1938. 8 октября.

[2] *Исаков С.* Забытый писатель // *Никифоров-Волгин В. А.* Дорожный посох: Избранное. М., 1992. С. 334.

* * *

Эпиграфом к творческому наследию Волгина могут послужить тютчевские строки:

Утомлённый ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.

Волгин – мастер лирической миниатюры. Его прозе присущи отточенный стиль, колоритная образность, напевная тональность. Рассказы и зарисовки складываются в тихую задушевную песню о России. Во времена беззаконий и гонений, обрушившихся на родную землю, среди моря страданий Волгин отыскивает зёрна христианской любви, рисует персонажей, которые хранят Святую Русь в своём сердце. Это странники, богомольцы, церковнослужители, юродивые, которые утешают страдающий народ, лечат души, очищают сердца. «Странничество и – раздумья, скитанья и вздохи. На бескрайних, молчаливых русских дорогах ранним утром и сумеречными вечерами совершаются незримые чудеса. С дорожным посохом, с котомкой за плечами проходят богомольные люди, погружённые в святое созерцание и беспокойные, печальные думы. Их прекрасно улавливает, тонко слышит, глубоко чувствует В. Никифоров-Волгин, *очень русский* писатель, отдавший свое сердце, преклонивший свой слух земле»[3], – писал С. Нарышкин.

В безмятежно-радостные, светлые тона окрашены рассказы цикла «Земля-именинница», где мир увиден глазами ребенка, приобщающегося к Православию. Христианская вера, Церковь являются для Волгина теми опорами, которые придают бытию целостность и гармоничность. Подобно И. Шмелеву, автору «Лета Господня», Волгин передаёт поэзию православных праздников, сочетает в своих рассказах образную речь простонародья с элементами церковнославянского языка. Ценят этот язык дедушка Влас и дьякон Афанасий в рассказе «Молнии слов светозарных». «В такие вечера вся их речь, даже самая обыденная, переливалась жемчугами славянских слов, и любили, грешным делом, повеличаться друг перед другом богатством собранных сокровищ. Утешали себя блеском старинных кованых слов…» Произведения Волгина – трогательные, согретые жаром православной души, пронизанные тихим светом и песенным лиризмом, – критики называли «рапсодиями».

Вместе со своими героями автор размышляет «о таинственных путях русской души, о величайших падениях её и величайших восстаниях, – России разбойной и России веригоносной» (рассказ «Вериги»). Повесть «Дорожный посох» написана в форме дневника сельского священника, которому довелось пережить войну, революцию, арест, издевательства безбожников, приговор к расстрелу (автор пророчески описал свою собственную судьбу и кончину). Эта книга – словно тихий плач о родной земле, до боли любимой героем. «Вся русская земля истосковалась по Благом Утешителе. Все устали. Все горем захлебнулись. Все чают Христова утешения. Я иду к ним», – заключает герой свой рассказ. Чудом избегнувший смерти, батюшка несёт страдающим людям евангельский свет.

Волгин – одни из первооткрывателей темы преследования верующих, гонений на Церковь в Советской России. «Здесь у писателя нередки апокалипсические настроения и видения. Но тем не менее, как истинный христианин, он не теряет веры в возможное духовное воз-

[3] *Нарышкин С.* Певец Бога и земли // *Никифоров-Волгин В.* Заутреня святителей: Избранное / Сост. А. Стрижев. М., 1998. С. 471.

рождение человека, в духовное обновление Руси»[4], – пишет первый исследователь и издатель наследия Волгина С. Исаков.

Поразительный образ-символ создаёт писатель в зарисовке «Пасха на рубеже России». Однажды он оказался на берегу Чудского озера, на тогдашней границе России. Хотя родина захвачена безбожниками, в псковской глуши ещё идут службы, и оттуда, с другой стороны рубежа, доносится благовест – «так звонила Россия к Пасхальной Заутрене». Подлинная Русь сосредоточена в этих праздниках, службах, колоколах. Стоя на берегу и слушая звон, автор *«крестится на Россию»,* в лице своих святых и праздников выросшую до иконы тысячелетнего православного царства.

Но это – в плане вечностном, метафизическом. В современных земных реалиях автор видит утрату веры и благочестия, надругательство над святынями, оскудение душ. Не менее символичен рассказ «Весенний хлеб». По старинному обычаю старик вынес новоиспечённый хлеб на перекрёсток, чтобы отдать бедным. Но равнодушно проехали мимо и горожане на автомобиле, и велосипедист в кожанке, а бродяга – не в пример прежним нищим – плюнул и грязно выругался. Старик простоял до вечера: некому на Руси стало отдать «хлеб Господень». В этом – примета нового, страшного времени, оскудения нравственного запаса. Старик, словно новый Диоген со своим фонарём, так и не нашел *человека.*

Две России постоянно присутствуют в художественном мире Волгина: разбойная, вбивающая гвозди в богородичную икону, – и монашеская, молитвенная. Народ раскрестившийся, со «звериным ликом» – и молельщики, ищущие правды, свершающие «светоподательные подвиги». Ужасы и мерзости, дикий разгул насилия и произвола не порождают уныния или отчаяния, что подметил А. Амфитеатров: «Сквозь великую грусть, внедряемую в душу трогательною книгою, таинственно светит некий тёплый, кромешной тьмы не рассеивающий, но издалека её путеводно пронизывающий, упованием бодрящий луч. Эта книга – шмелёвского настроения, но Шмелёва не апокалиптически страшного “Солнца мёртвых”, а Шмелёва позднейшего, задумавшегося о “Путях небесных”»[5].

Один из постоянных мотивов Волгина – умиротворение и просветление человека. Тема покаяния, исцеления распадающегося мира звучит и в новелле «Чёрный пожар» (где боец спасает раненого противника-белогвардейца, в котором вдруг увидел брата, «земляка» по России), и в одном из лучших рассказов, «Мати-пустыня». Мотив *возвращения* постепенно становился всё отчётливее в русской литературе XX века (вспомним хотя бы одноимённый рассказ А. Платонова). Исцеление от беспамятства, прозрение русского человека, приникающего к своим истокам, к древним, тысячелетним корням, – наиболее широко и многопланово эта тематика вошла в традиционную (так называемую деревенскую) прозу 1960-х – 1970-х годов, в критику и публицистику тех лет. Но предтечей стал Волгин, открывший эту тему уже через несколько лет после октябрьской катастрофы. В рассказе «Мати-пустыня» деревенский парень возвращается из Красной Армии домой, к матери. В бешеной суете революционных дней он не замечал *красоты,* и только сейчас ему открывается мир Божий: «Солнцем, цветами, свежестью распускающихся берез, несказанной Господней красотой полны были голубые глубины леса». Родная земля лечит душу, оживают в памяти предания и молитвы. Смертельно больной, герой просит отвезти его в монастырь, чтобы покаяться в тяжких грехах. Мирная кончина примирившегося с Богом происходит «тише падения золотого листа с дерева»; мать поёт умершему на её руках сыну «про дубравы Господни, цветами райскими украшенные». Древний сюжет возвращения блудного сына мастерски претворён Волгиным в форму напевного сказания-притчи.

---

[4] *Исаков С.* Забытый писатель. С. 337.

[5] *Амфитеатров А.* Тоска по Богу // *Никифоров-Волгин В.* Заутреня святителей. С. 485.

Встречаются и комические эпизоды, как в рассказе «Икона». Грустной иронией окрашена история о том, как люди возвращают подаренную икону, потому что в квартире «модный стиль модерн» и она «к мебели не подходит». Этот сюжет также словно взят из послевоенной советской беллетристики, из «Чёрных досок» В. Солоухина.

Среди открытий Волгина – описание молитвы сельского священника («Молитва»). Оно уникально в русской литературе. Простой, необразованный батюшка напрямую говорит со Всевышним, буквально вопиет о спасении своих страдальцев-прихожан. Случайно услышанная автором, эта молитва оставляет у него ощущение ужаса и священного трепета. Ничего подобного в отечественной беллетристике нет. Даже в «Путях небесных» И. Шмелёва молитвенные обращения Дариньки выглядят по сравнению с волгинскими слишком литературными.

«Весь интерес писателя обращён на духовную нужду народа, ограбленного в вере своей, и, в частности, особенно подчёркнуто, на переживания антихристова пришествия верно устоявшею во Христе частью православного мира и его духовенства»[6], – заметил В. Амфитеатров. Постоянно ощутим высший план истории, метафизическая битва Креста и сатанинской звезды. «Заутреня святителей» – сказ о том, как Николай Угодник, Сергий Радонежский и Серафим Саровский идут по заснеженной Русской земле, служат заутреню в церковке в глухом Китежском лесу. Никола объясняет, почему так близка ему Русь: она – «кроткая дума Господня. Дитя Его любимое. Неразумное, но любое». Но в революцию русский народ себя обагрил кровью, и святители молятся о его покаянии и спасении, благословляют «на все четыре конца снежную землю, вьюгу и ночь», – в этом финале явственна отсылка к стихиям блоковских «Двенадцати», а в заступничестве святителей звучит надежда на преодоление ледяного мрака.

И в сегодняшней России XXI века, во времена сумрачные и трудные, книги Никифорова-Волгина – как глоток чистейшей родниковой воды. Его светозарное слово лечит душу, наполняет её живительным светом и дарит надежду.

Алексей Любомудров

[6] *Амфитеатров А.* Тоска по Богу. С. 484.

Свете тихий

Крещение

В Крещенский Сочельник я подрался с Гришкой. Со слов дедушки я стал рассказывать ему, что сегодня в полночь сойдёт с неба ангел и освятит на реке воду и она запоёт: «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи». Гришка не поверил и обозвал меня «баснописцем». Этого прозвища я не вытерпел и толкнул Гришку в сугроб, а он дал мне по затылку и обсыпал снегом. В слезах пришёл домой. Меня спросили:

– О чём кувыкаешь?

– Гри-и-шка не верит, что вода петь бу-у-дет сегодня ночью!

Из моих слов ничего не поняли.

– Нагрешник ты, нагрешник, – сказали с упрёком, – даже в Христов Сочельник не обойтись тебе без драки!

– Да я же ведь за дело Божие вступился, – оправдывался я.

Сегодня великое освящение воды. Мы собирались в церковь. Мать сняла с божницы сосудец с остатками прошлогодней святой воды и вылила её в печь, в пепел, ибо грех выливать её на места попираемые. Отец спросил меня:

– Знаешь, как прозывается по-древнему богоявленская вода? Святая агиасма!

Я повторил это как бы огнём вспыхнувшее слово, и мне почему-то представился недавний ночной пожар за рекой и зарево над снежным городом. Почему слово «агиасма» слилось с этим пожаром, объяснить себе не мог. Не оттого ли, что страшное оно?

На голубую от крещенского мороза землю падал большими хлопьями снег. Мать сказала:

– Вот ежели и завтра Господь пошлёт снег, то будет урожайный год.

В церковь пришли все заметеленными и румяными от мороза. От замороженных окон стоял особенный снежный свет – точно такой же, как между льдинами, которые недавно привезли с реки на наш двор.

Посредине церкви стоял большой ушат воды и рядом парчовый столик, на котором поставлена водосвятная серебряная чаша с тремя белыми свечами по краям. На клиросе читали «пророчества». Слова их журчали, как многоводные родники в лесу, а в тех местах, где пророки обращаются к людям, звучала набатная медь: «Измойтесь и очиститесь, оставьте лукавство пред Господом: жаждущие, идите к воде живой…»

Читали тринадцать паремий. И во всех них струилось и гремело слово «вода». Мне представлялись ветхозаветные пророки в широких одеждах, осенённые молниями, одиноко стоящие среди камней и высоких гор, а над ними янтарное библейское небо и ветер, развевающий их седые волосы.

При пении «Глас Господень на водах» вышли из алтаря к народу священник и диакон. На водосвятной чаше зажгли три свечи.

– Вот и в церкви поют, что на водах голос Божий раздается, а Гришка не верит. Плохо ему будет на том свете!

Я искал глазами Гришку, чтобы сказать ему про это, но его не было видно.

Священник читал молитву «Велий еси Господи, и чудна дела Твоя. Тебе поет солнце. Тебе славит луна, Тебе присутствуют звезды. Тебе слушает свет.»

После молитвы священник трижды погрузил золотой крест в воду, и в это время запели снегом и ветром дышащий богоявленский тропарь «Во Иордани крещающуся Тебе, Господи, тройческое явися поклонение» и всех окропляли освящённой водою.

От ледяных капель, упавших на моё лицо, мне казалось, что теперь наступит большое ненарадованное счастье и всё будет по-хорошему, как в день Ангела, когда отец «осеребрит» тебя гривенником, а мать пятачком и пряником в придачу. Литургия закончилась посреди храма перед возжжённым светильником, и священник сказал народу:

– Свет этот знаменует Спасителя, явившегося в мир просветить всю поднебесную!

Подходили к ушату за святой водой. Вода звенела, и вспоминалась весна.

Так же как и на Рождество, в доме держали «дозвёздный пост». Дождавшись наступления вечера, сели мы за трапезу – навечерницу. Печёную картошку ели с солью, кислую капусту, в которой попадались морозинки (стояла в холодном подполе), пахнущие укропом огурцы и сладкую, мёдом заправленную кашу. Во время ужина начался зазвон к Иорданскому всенощному бдению. Началось оно по-рождественскому – Великим повечерием. Пели песню: «Вся-ческая днесь да возрадуется Христу явльшуся во Иордане» – и читали Евангелие о сошествии на землю Духа Божьего.

После всенощной делали углём начертание креста на дверях, притолоках, оконных рамах – в знак ограждения дома от козней дьявольских. Мать сказывала, что в этот вечер собирают в деревне снег с полей и бросают в колодец, чтобы сделать его сладимым и многоводным, а девушки «величают звёзды». Выходят они из избы на двор. Самая старшая из них несёт пирог, якобы в дар звёздам, и скороговоркой, нараспев выговаривают:

– Ай, звёзды, звёзды, звёздочки! Все вы, звёзды, одной матушки, белорумяны и дородливы. Засылайте сватей по миру крещёному, сряжайте свадебку для мира крещёного, для пира гостиного, для красной девицы родимой.

Слушал и думал: хорошо бы сейчас побежать по снегу к реке и послушать, как запоёт полнощная вода…

Мать «творит» тесто для пирога, влив в него ложечку святой воды, а отец читает Библию. За окном ветер гудит в берёзах и ходит крещенский мороз, похрустывая валенками. Завтра на отрывном численнике покажется красная цифра 6, и под ней будет написано звучащее крещенской морозной водою слово: «Богоявление». Завтра пойдем на Иордань!

1938

Кануны Великого поста

Вся в метели прошла преподобная Евфимия Великая – государыня Масленица будет метельной! Прошёл апостол Тимофей Полузимник; за ним три вселенских святителя: св. Никита, епископ Новгородский, – избавитель от пожара и всякого запаления; догорели восковые свечи Сретения Господня – были лютые сретенские морозы; прошли Симеон Богоприимец и Анна Пророчица.

Снег продолжает заметать окна до самого навершия, морозы стоят словно медные, по ночам метель воет, но на душе любо – прошла половина зимы. Дни светлеют! Во сне уж видишь траву и берёзовые серёжки. Сердце похоже на птицу, готовую к полёту.

В лютый мороз я объявил Гришке:

– Весна наступает!

А он мне ответил:

– Дать бы тебе по затылку за такие слова! Кака тут весна, ежели птица на лету мёрзнет!

– Это последние морозы, – уверял я, дуя на окоченевшие пальцы, – уже ветер веселее дует, да и лёд на реке по ночам воет… Это к весне!

Гришка не хочет верить, но по глазам вижу, что ему тоже любо от весенних слов.

Нищий Яков Гриб пил у нас чай. Подув на блюдечко, он сказал поникшим голосом:

– Бежит время… бежит. Завтра наступает неделя о мытаре и фарисее. Готовьтесь к Великому посту – редька и хрен да книга Ефрем.

Все вздохнули, а я обрадовался. Великий пост – это весна, ручьи, петушиные вскрики, жёлтое солнце на белых церквах и ледоход на реке. За всенощной, после выноса Евангелия на середину церкви, впервые запели покаянную молитву:

Покаяния отверзи ми двери.
Жизнодавче,
Утреннеет бо дух мой ко храму
Святому Твоему.

С Мытаревой недели в доме начиналась подготовка к Великому посту. Перед иконами затепляли лампаду, и она уже становилась неугасимой. По средам и пятницам ничего не ели мясного. Перед обедом и ужином молились «в землю». Мать становилась строже и как бы уходящей от земли. До прихода Великого поста я спешил взять от зимы все её благодатности: катался на санях, валялся в сугробах, сбивал палкой ледяные сосульки, становился на запятки извозчичьих санок, сосал льдинки, спускался в овраги и слушал снег.

Наступила другая седмица. Она называлась по-церковному – Неделя о Блудном сыне. За всенощной пели ещё более горькую песню, чем «Покаяние», – «На реках Вавилонских».

В воскресенье пришёл к нам погреться Яков Гриб. Присев к печке, он запел старинный стих «Плач Адама»:

Раю, мой раю,
Пресветлый мой раю,
Ради мене сотворенный,
Ради Евы затворенный.

Стих этот заставил отца разговориться. Он стал вспоминать большие русские дороги, по которым ходили старцы-слепцы с поводырями. Прозывались они Божиими певунами. На посохе у них изображались голубь, шестиконечный крест, а у иных змея. Остановятся, бывало,

перед окнами избы и запоют о смертном часе, о последней трубе Архангела, об Иосафе-царевиче, о вселении в пустыню. Мать свою бабушку вспомнила:

– Мастерица была петь духовные стихи! До того было усладно, что, слушая её, душа лечилась от греха и помрачения!..

– Когда-то и я на ярмарках пел! – отозвался Яков. – Пока голоса своего не пропил. Дело это выгодное и утешительное. Народ-то русский за благоглаголивость слов крестильный крест с себя сымет! Всё дело забудет. Опустит, бывало, голову и слушает, а слёзы-то по лицу так и катятся!.. Да, без Бога мы не можем, будь ты хоть самый что ни на есть чистокровный жулик и арестант!

– Теперь не те времена, – вздохнула мать, – старинный стих повыветрился! Всё больше фабричное да граммофонное поют!

– Так-то оно так, – возразил Яков, – это верно, что старину редко поют, но попробуй запой вот теперь твоя бабушка про Алексия – человека Божия или там про антихриста, так расплачутся разбойники и востоскуют! Потому что это… землю Русскую в этом стихе услышат. Прадеды да деды перед глазами встанут. Вся история из гробов восстанет!.. Да. От крови да от земли своей не убежишь. Она своё возьмёт… кровь-то!

Вечером увидел я нежный бирюзовый лоскуток неба, и он показался мне знамением весны – она всегда, ранняя весна-то, бирюзовой бывает! Я сказал про это Гришке, и он опять выругался:

– Дам я тебе по затылку, курносая пятница! Надоел ты мне со своей весной хуже горькой редьки!

Наступила Неделя о Страшном Суде. Накануне поминали в церкви усопших сродников. Дома готовили кутью из зёрен – в знак веры в Воскресение из мёртвых. В этот день церковь поминала всех «от Адама до днесь усопших в благочестии и вере» и особенное моление воссылала за тех, «коих вода покрыла, от брани, пожара и землетрясения погибших, убийцами убитых, молнией попаленных, зверьми и гадами умерщвленных, от мороза замерзших…». И за тех «яже уби меч, конь совосхити, яже удави камень, или перст посыпа; яже убиша чаровныя напоения, отравы, удавления.».

В воскресенье читали за Литургией Евангелие о Страшном Суде. Дни были страшными, похожими на ночные молнии или отдалённые раскаты грома.

Во мне боролись два чувства – страх перед грозным Судом Божиим и радость от близкого наступления Масленицы. Последнее чувство было так сильно и буйно, что я перекрестился и сказал:

– Прости, Господи, великие мои согрешения!

Масленица пришла в лёгкой метелице. На телеграфных столбах висели длинные багровые афиши. Почти целый час мы читали с Гришкой мудрёные, но завлекательные слова:

«Кинематограф “Люмьер”. Живые движущиеся фотографии и, кроме того, блистательное представление малобариста геркулесного жонглёра-эквилибриста “Бруно фон Солерно”, престидижитатора Мюльберга и магико-спиритический вечер престидижитатора, эффектиста, фантастического вечера эскамотажа, прозванного королём ловкости, Мартина Лемберга».

От людей пахло блинами. Богатые пекли блины с понедельника, а бедные с четверга. Мать пекла блины с молитвою. Первый испечённый блин она положила на слуховое окно в память умерших родителей. Мать много рассказывала о деревенской Масленице, и я очень жалел, почему родителям вздумалось перебраться в город. Там всё было по-другому. В деревне масленичный понедельник назывался – встреча; вторник – заигрыши; среда – лакомка; четверг – перелом; пятница – тёщины вечёрки; суббота – золовкины посиделки; воскресенье – проводы и прощёный день. Масленицу называли также Боярыней, Царицей, Осударыней, Матушкой, Гулёной, Красавой. Пели песни, вытканные из звёзд, солнечных лучей, месяца – золотые рожки, из снега, из ржаных колосков.

В эти дни все веселились, и только одна Церковь скорбела в своих вечерних молитвах. Священник читал уже великопостную молитву Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего». Наступило прощёное воскресенье. Днем ходили на кладбище прощаться с усопшими сродниками. В церкви, после вечерни, священник поклонился всему народу в ноги и попросил прощения. Перед отходом ко сну земно кланялись друг другу, обнимались и говорили: «Простите, Христа ради» – и на это отвечали: «Бог простит». В этот день в деревне зорнили пряжу, то есть выставляли моток пряжи на утреннюю зарю, чтобы вся пряжа была чиста.

Снился мне грядущий Великий пост, почему-то в образе преподобного Сергия Радонежского, идущего по снегу и опирающегося на чёрный игуменский посох.

1938

Великий поет

Редкий великопостный звон разбивает скованное морозом солнечное утро, и оно будто бы рассыпается от колокольных ударов на мелкие снежные крупинки. Под ногами скрипит снег, как новые сапоги, которые я обуваю по праздникам.

Чистый Понедельник. Мать послала меня в церковь «к часам» и сказала с тихой строгостью:

– Пост да молитва небо отворяют!

Иду через базар. Он пахнет Великим постом: редька, капуста, огурцы, сушёные грибы, баранки, снитки, постный сахар… Из деревень привезли много веников (в Чистый Понедельник была баня). Торговцы не ругаются, не зубоскалят, не бегают в казёнку за сотками и говорят с покупателями тихо и деликатно:

– Грибки монастырские!

– Венички для очищения!

– Огурчики печёрские!

– Сниточки причудские!

От мороза голубой дым стоит над базаром. Увидел в руке проходившего мальчишки прутик вербы, и сердце охватила знобкая радость: скоро весна, скоро Пасха и от мороза только ручейки останутся!

В церкви прохладно и голубовато, как в снежном утреннем лесу. Из алтаря вышел священник в чёрной епитрахили и произнёс никогда не слыханные слова: «Господи, Иже Пресвятаго Своего Духа в третий час апостолом Твоим низпославый, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас, молящих Ти ся…»

Все опустились на колени, и лица молящихся – как у предстоящих перед Господом на картине «Страшный Суд». И даже у купца Бабкина, который побоями вогнал жену в гроб и никому не отпускает товар в долг, губы дрожат от молитвы и на выпуклых глазах слёзы. Около Распятия стоит чиновник Остряков и тоже крестится, а на Масленице похвалялся моему отцу, что он, как образованный, не имеет права верить в Бога. Все молятся, и только церковный староста звенит медяками у свечного ящика.

За окнами снежной пылью осыпались деревья, розовые от солнца.

После долгой службы идёшь домой и слушаешь внутри себя шёпот: «Обнови нас, молящих Ти ся… даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего.» А кругом солнце. Оно уже сожгло утренние морозы. Улица звенит от ледяных сосулек, падающих с крыш.

Обед в этот день был необычайный: редька, грибная похлёбка, гречневая каша без масла и чай яблочный. Перед тем как сесть за стол, долго крестились перед иконами. Обедал у нас нищий старичок Яков, и он сказывал: «В монастырях по правилам святых отцов на Великий пост положено сухоядение, хлеб да вода… А святой Ерм со своими учениками вкушали пищу единожды в день, и только вечером.»

Я задумался над словами Якова и перестал есть.

– Ты что не ешь? – спросила мать.

Я нахмурился и ответил басом, исподлобья:

– Хочу быть святым Ермом!

Все улыбнулись, а дедушка Яков погладил меня по голове и сказал:

– Ишь ты, какой восприемный!

Постная похлёбка так хорошо пахла, что я не сдержался и стал есть; дохлебал её до конца и попросил ещё тарелку, да погуще.

Наступил вечер. Сумерки колыхнулись от звона к Великому повечерию. Всей семьёй мы пошли к чтению канона Андрея Критского. В храме полумрак. На середине стоит аналой в

чёрной ризе, и на нём большая старая книга. Много богомольцев, но их почти не слышно, и все похожи на тихие деревца в вечернем саду. От скудного освещения лики святых стали глубже и строже.

Полумрак вздрогнул от возгласа священника, тоже какого-то далёкого, окутанного глубиной. На клиросе запели тихо-тихо и до того печально, что защемило в сердце: «Помощник и Покровитель бысть мне во спасение: сей мой Бог, и прославлю Его, Бог Отца моего, и вознесу Его, славно бо прославися…»

К аналою подошёл священник, зажёг свечу и начал читать великий канон Андрея Критского: «Откуду начну плакати окаяннаго моего жития деяний? Кое ли положу начало, Христе, нынешнему рыданию? Но яко благоутробен, даждь ми прегрешений оставление».

После каждого прочитанного стиха хор вторит батюшке: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя».

Долгая-долгая, монастырски строгая служба. За погасшими окнами ходит тёмный вечер, осыпанный звёздами. Подошла ко мне мать и шепнула на ухо:

– Сядь на скамейку и отдохни малость.

Я сел, и охватила меня от усталости сладкая дрёма, но на клиросе запели: «Душе моя, душе моя, возстани, что спиши?»

Я смахнул дрёму, встал со скамейки и стал креститься.

Батюшка читает: «Согреших, беззаконновах и отвергох заповедь Твою…»

Эти слова заставляют меня задуматься. Я начинаю думать о своих грехах. На Масленице стянул у отца из кармана гривенник и купил себе пряников; недавно запустил комом снега в спину извозчика; приятеля своего Гришку обозвал «рыжим бесом», хотя он совсем не рыжий; тётку Федосью прозвал «грызлой»; утаил от матери сдачу, когда покупал керосин в лавке, и при встрече с батюшкой не снял шапку.

Я становлюсь на колени и с сокрушением повторяю за хором: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя.»

Когда шли из церкви домой, дорогою я сказал отцу, понурив голову:

– Папка! Прости меня, я у тебя стянул гривенник!

Отец ответил:

– Бог простит, сынок.

После некоторого молчания обратился я и к матери:

– Мама, и ты прости меня. Я сдачу за керосин на пряниках проел.

И мать тоже ответила:

– Бог простит.

Засыпая в постели, я подумал: «Как хорошо быть безгрешным!»

«Торжество Православия»

Отец загадал мне мудрёную загадку: «Стоит мост на семь вёрст. У конца моста стоит яблоня, она пустила цвет на весь Божий свет».

Слова мне понравились, а разгадать не мог. Оказалось, что это семинедельный Великий пост и Пасха.

Первая неделя Поста шла к исходу. В субботу церковь вспоминала чудо великомученика Феодора Тирона. В этот день в церкви давали медовый рис с изюмом. Он так мне понравился, что я вместо одной ложечки съел пять, и дьякон, державший блюдо, сказал мне:

– Не многовато ли будет?

Я поперхнулся от смущения и закашлялся.

В эти богоспасённые дни (так ещё называли Пост) я часто подходил к численнику и считал листики: много ли дней осталось до Пасхи?

Перелистал их лишь до Великой Субботы, а дальше уж не заглядывал – не грешно ли смотреть на Пасху раньше срока?

Отец, сидя за верстаком, пел великопостные слова:

Возсия благодать Твоя, Господи, возсия просвещение душ наших; отложим дела тьмы, и облечемся во оружие света: яко да преплывше Поста великую пучину.

Всё чаще и чаще заставляли меня читать по вечерам «Сокровище духовное, от мира собираемое» святителя Тихона Задонского. Я выучил наизусть вступительные слова к этой книге и любовался ими, как бисерным кошелёчком, вышитым в женском монастыре и подаренным мне матерью в день Ангела. «Как купец от различных стран собирает различные товары, и в дом свой привозит, и сокрывает их: так христианину можно от мира сего собирать душеполезные мысли, и слагать их в клети сердца своего, и теми душу свою созидать».

Многое что не понимал в этой книге. Нравились мне лишь заглавия некоторых поучений. Я заметил, что и матери эти заглавия были любы. Прочтёшь, например: «Мир», «Солнце», «Сеятва и жатва», «Свеща горящая», «Вода мимотекущая», а мать уж и вздыхает:

– Хорошо-то как, Господи!

Отец возразит ей:

– Подожди вздыхать… Это же зачин.

А она ответит:

– Мне и от этих слов тепло!

Читаешь творение долго. Закроешь книгу и по старинному обычаю поцелуешь её. Много прочитано разных наставлений святителя, а мать твердит только одни, ей полюбившиеся, заглавные слова:

– Свеща горящая. Вода мимотекущая.

* * *

Наш город ожидал два больших события: приезд архиерея со знаменитым протодьяконом и чин провозглашения анафемы отступникам веры.

Про анафему мне рассказывали, что в старое время она провозглашалась Гришке Отрепьеву, Стеньке Разину, Пугачёву, Мазепе и в этот день старухи-невразумихи поздравляли друг дружку по выходе из церкви: «С проклятьицем, матушка».

При слове «анафема» мне почему-то представлялись большие гулкие камни, падающие с высоких гор в дымную бездну. День этот был мглист, надут снегом и ветром, готов рассыпаться тяжкой свинцовой вьюгой. Хотя и объяснял мне Яков, что анафему не надо понимать как проклятие, я всё же стоял в церкви со страхом.

Из алтаря вышло духовенство для встречи епископа. Я насчитал двенадцать священников и четырёх дьяконов.

Шествие замыкал высокий, дородный протодьякон с широким медным лбом, с рыжими кудрями по самые плечи. Он плыл по собору, как большая туча по небу, вьюжно шумя синим своим стихарём, опоясанным серебряным двойным орарем. Крепкая медная рука с литыми длинными пальцами держала кадило.

Про этого протодьякона ходила молва, что был он когда-то бурлаком на Волге и однажды, тяня бичеву, запел песню на всё волжское поволье. Услыхал эту песню проезжавший мимо Московский митрополит. Диву он дался, услыхав голос такой редкостной силы. Владыка повелел позвать к себе певца. С этого и началось. Бурлак стал протодьяконом.

На колокольне затрезвонили «во вся тяжкая» колокола. К собору подкатила карета, из которой вышел сановитый монах в собольей шубе, опираясь на чёрный высокий посох. Лицо монаха властное, смурое, как у древних ассирийских царей, которых я видел в книжке.

В это время загрохотал как бы великий гром. Все перекрестились и восколебались, со страхом взглянув на медного протодьякона. Он начал возглашать: «Достойно есть, яко воистину…»

К его возгласу присоединился хор, запев волнообразное архиерейское «входное», поверх которого шли тяжёлые волны протодьяконского голоса: «И славнейшую без сравнения серафим…»

Два иподьякона облачали епископа в лиловую мантию. Она звенела тонкими ручьистыми бубенчиками.

Это была первая торжественная служба, которую я видел, и мне было радостно, что наше Православие такое могучее и просторное. Недаром сегодняшний день назывался по-церковному «Торжеством Православия».

Епископа облачали в редкостные ризы, посредине церкви, на бархатном красном возвышении, и в это время пели запомнившиеся мне слова: «Да возрадуется душа твоя, о Господи!..» Всё это было мне в диковинку, и Гришка несколько раз говорил мне:

– Закрой рот! Стоишь, как ворона!

– А у тебя сопля текёт! – разъярился я на Гришку, толкнув его локтем.

– Чего это вы тут озоруете? – зашипел на нас красноносый купец Саморядов. – Анафемы захотели?

Но купец Саморядов сам не выдержал тишины, когда протодьякон грянул во всю свою волговую силу: «Тако да просветится свет Твой пред человеки!..»

Купец скрючился, ахнул и восторженно вскрикнул:

– Вот дак… голосище!.. Чтоб… его…

Он хотел прибавить что-то неладное, но испугался; закрыл ладонью рот и стал часто креститься. На купца взглянули и улыбнулись.

Меня затеснили и загородили свет. Я пытался протискаться вперед, но меня не пускали и даже бранили:

– И что это за шкет такой беспокойный!

– Пустите сорванца вперёд, а то все мозоли нам отдавит!

Меня выпихнули к самому амвону, где стояли почётные богомольцы. На меня покосились, но я никакого внимания на них не обратил и встал рядом с генералом.

Я смотрел на «золотое шествие» духовенства из алтаря на середину церкви при пении «Блажени нищие духом», на выход епископа со свечами, провозгласившего над народом моление «Призри с небеси Боже» и осенившего всех нас огнём, – а в это время три отрока в стихарях пели: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас», – на всенародное умовение рук епископа перед Великим выходом при пении: «Иже Херувимы тайно образующе», и всё это при синайских громах протодьяконовского возношения.

Мне не стоялось спокойно, я вертелся по сторонам и весь как бы горел от восхищения.

Генерал положил мне руку на голову и вежливо сказал:

– Успокойся, милый, успокойся!

Начался чин анафемствования. На середину церкви вынесли большие тёмные иконы Спасителя и Божьей Матери. Епископ прочитал Евангелие о заблудшей овце, и провозглашали ектению о возвращении всех отпавших в объятия Отца Небесного.

В окна собора била вьюга. Все люди стояли потемневшими, с опущенными головами, похожими на землю в ожидании бури.

После молитвы о просвещении Светом всех помрачённых и отчаявшихся на особую деревянную восходницу поднялся протодьякон и положил тяжёлые металлические руки на высокий чёрный аналой. Он молча и грозно оглядел всех предстоящих, высоко поднял златовласую голову, перекрестился широким взмахом и всею силою своего широкого голоса запел прокимен: «Кто Бог великий яко Бог наш, Ты еси Бог наш творяй чудеса!»

Как бы объятый огнём и бурею, протодьякон бросал с высоты восходницы огненосное, страшное слово «анна-фе-мма!».

И опять мне представилась гора, с которой падали тяжёлые чёрные камни в дымную бездну.

Все отлучаемые от Церкви были этими падающими камнями. Вслед им, с высоты горы, Церковь пела трижды великоскорбное и как бы рыдающее: «Анафема, анафема, анафема!»

Церковь жалела отлучаемых.

В этот мглистый вьюжный день вся земля, казалось, звучала протодьяконской медью:

«Отрицающим бытие Божие – анафема!»

«Дерзающим глаголати яко Сын Божий не единосущен Отцу и не бысть Бог – анафема!»

«Не приемлющим благодати искупления – анафема!»

«Отрицающим Суд Божий и воздаяние грешников – анафема!..»

В этот день мать плакала:

– Жалко их… Господи!..

Двенадцать Евангелий

До звона к чтению двенадцати Евангелий я мастерил фонарик из красной бумаги, в котором понесу свечу от Страстей Христовых. Этой свечой мы затеплим лампаду и будем поддерживать в ней неугасимый огонь до Вознесения.

– Евангельский огонь, – уверяла мать, – избавляет от скорби и душевной затеми!

Фонарик мой получился до того ладным, что я не стерпел, чтобы не сбегать к Гришке, показать его. Тот зорко осмотрел его и сказал:

– Ничего себе, но у меня лучше!

При этом он показал свой, окованный жестью и с цветными стеклами.

– Такой фонарь, – убеждал Гришка, – в самую злющую ветрюгу не погаснет, а твой не выдержит!

Я закручинился: неужели не донесу до дома святого огонька?

Свои опасения поведал матери. Она успокоила:

– В фонаре-то не хитро донести, а ты попробуй по-нашему, по-деревенскому – в руках донести. Твоя бабушка, бывало, за две версты, в самую ветрень, да полем, несла четверговый огонь – и доносила.

Предвечерье Великого Четверга было осыпано золотистой зарёй. Земля холодела, и лужицы затягивались хрустящей заледью. И была такая тишина, что я услышал, как галка, захотевшая напиться из лужи, разбила клювом тонкую заморозь.

– Тихо-то как! – заметил матери.

Она призадумалась и вздохнула:

– В такие дни всегда… Это земля сострадает страданиям Царя Небесного!..

Нельзя было не вздрогнуть, когда по тихой земле прокатился круглозвучный удар соборного колокола. К нему присоединился серебряный, как бы грудной звон Знаменской церкви, ему откликнулась журчащим всплеском Успенская церковь, жалостным стоном Владимирская и густой воркующей волной Воскресенская церковь.

От скользящего звона колоколов город словно плыл по голубым сумеркам, как большой корабль, а сумерки колыхались, как завесы во время ветра, то в одну сторону, то в другую.

Начиналось чтение двенадцати Евангелий. Посередине церкви стояло высокое Распятие. Перед ним аналой. Я встал около креста, и голова Спасителя в терновом венце показалась особенно измученной. По складам читаю славянские письмена у подножия креста: «Той язвен бысть за грехи наши, и мучен бысть за беззакония наша».

Я вспомнил, как Он благословлял детей, как спас женщину от избиения камнями, как плакал в саду Гефсиманском, всеми оставленный, – и в глазах моих засумерничало, и так хотелось уйти в монастырь… После ектении, в которой трогали слова: «О плавающих, путешествующих, недугующих и страждущих Господу помолимся», – на клиросе запели, как бы одним рыданием: «Егда славнии ученицы на умовении вечери просвещахуся».

У всех зажглись свечи, и лица людей стали похожими на иконы при лампадном свете – световидные и милостивые.

Из алтаря, по широким унывным разливам четвергового тропаря, вынесли тяжёлое, в чёрном бархате Евангелие и положили на аналой перед Распятием. Всё стало затаённым и слушающим. Сумерки за окнами стали синее и задумнее.

С неутолимой скорбью был положен «начал» чтения первого Евангелия: «Слава страстем Твоим, Господи». Евангелие длинное-длинное, но слушаешь его без тяготы, глубоко вдыхая в себя дыхание и скорбь Христовых слов. Свеча в руке становится тёплой и нежной. В её огоньке тоже живое и настороженное.

Во время каждения читались слова как бы от имени Самого Христа: «Людие Мои, что сотворих вам, или чем вам стужих: слепцы ваша просветих, прокаженныя очистих, мужа суща на одре возставих. Людие Мои, что сотворих вам, и что Ми воздаете? За манну желчь, за воду оцет, за еже любити Мя, ко кресту Мя пригвоздиша».

В этот вечер до содрогания близко видел, как взяли Его воины, как судили, бичевали, распинали и как Он прощался с Матерью. «Слава долготерпению Твоему, Господи».

После восьмого Евангелия три лучших певца в нашем городе встали в нарядных синих кафтанах перед Распятием и запели «светилен»: «Разбойника благоразумного во едином часе раеви сподобил еси, Господи; и мене Древом крестным просвети и спаси».

С огоньками свечей вышли из церкви в ночь. Навстречу тоже огни – идут из других церквей. Под ногами хрустит лёд, гудит особенный предпасхальный ветер, все церкви трезвонят, с реки доносится ледяной треск, и на чёрном небе, таком просторном и божественно мощном, много звёзд.

– Может быть, и там… кончили читать двенадцать Евангелий и все святые несут четверговые свечи в небесные свои горенки?

1934

Плащаница

Великая Пятница пришла вся запечаленная. Вчера была весна, а сегодня затучило, заветрило и потяжелело.

– Будут стужи и метели, – зябко уверял нищий Яков, сидя у печки, – река сегодня шу-умная! Колышень по ней так и ходит! Недобрый знак!

По издавнему обычаю до выноса Плащаницы не полагалось ни есть, ни пить, в печи не разжигали огня, не готовили пасхальную снедь – чтобы вид скоромного не омрачал душу соблазном.

– Ты знаешь, как в древних сказах величали Пасху? – спросил меня Яков. – Не знаешь. «Светозар-день». Хорошие слова были у стариков. Премудрые! – Он опустил голову и вздохнул: – Хорошо помереть под Светлое! Прямо в рай пойдешь. Все грехи сымутся!

– Хорошо-то оно хорошо, – размышлял я, – но жалко! Всё же хочется раньше разговеться и покушать разных разностей… посмотреть, как солнце играет… яйца покатать, в колокола потрезвонить!..

В два часа дня стали собираться к выносу Плащаницы. В церкви стояла Гробница Господа, украшенная цветами. По левую сторону от неё поставлена большая старая икона «Плач Богородицы». Матерь Божия будет смотреть, как погребают Её Сына, и плакать.

А Он будет утешать Её словами: «Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе. Возстану бо и прославлюся.»

Рядом со мной встал Витька. Озорные глаза его и бойкие руки стали тихими. Он посуровел как-то и призадумался. Подошёл к нам и Гришка. Лицо и руки его были в разноцветных красках.

– Ты что такой мазаный? – спросил его.

Гришка посмотрел на руки и с гордостью ответил:

– Десяток яиц выкрасил!

– У тебя и лицо-то в красных и синих разводах! – указал Витька.

– Да ну? Поплюй и вытри!

Витька отвёл Гришку в сторону, наплевал в ладонь и стал утирать Гришкино лицо и ещё пуще размазал его.

Девочка с длинными белокурыми косами, вставшая неподалёку от нас, взглянула на Гришку и засмеялась.

– Иди вымойся, – шепнул я ему, – нет сил смотреть на тебя. Стоишь, как зебра!

На клиросе запели стихиру, которая объяснила мне, почему сегодня нет солнца, и не поют птицы, и по реке ходит колышень: «Вся тварь изменяшеся страхом, зрящи Тя на кресте висима Христе. Солнце омрачашася, и земли основания сотрясахуся: вся сострадаху Создавшему вся. Волею нас ради претерпевый, Господи, слава Тебе».

Время приближалось к выносу Плащаницы.

Едва слышным озёрным чистоплеском, трогательно и нежно запели: «Тебе одеющагося светом яко ризою, снем Иосиф с древа с Никодимом, и видев мертва, нага, непогребенна, благосердый плач восприим».

От свечки к свечке потянулся огонь, и вся церковь стала похожа на первую утреннюю зарю. Мне очень захотелось зажечь свечу от девочки, стоящей впереди меня, той самой, которая рассмеялась при взгляде на Гришкино лицо.

Смущённый и красный, прикоснулся свечой к её огоньку, и рука моя дрогнула. Она взглянула на меня и покраснела.

Священник с дьяконом совершали каждение вокруг престола, на котором лежала Плащаница. При пении «Благообразный Иосиф» начался вынос её на середину церкви, в угото-

ванную для неё гробницу. Батюшке помогали нести Плащаницу самые богатые и почётные в городе люди, и я подумал: «Почему богатые? Христос бедных людей любил больше!»

Батюшка говорил проповедь, и я опять подумал: «Не надо сейчас никаких слов. Всё понятно, и без того больно».

Невольный грех осуждения перед Гробом Господним смутил меня, и я сказал про себя: «Больше не буду».

Когда всё было кончено, то стали подходить прикладываться к Плащанице, и в это время пели: «Приидите ублажим Иосифа Приснопамятнаго, в нощи к Пилату пришедшаго… Даждь ми сего страннаго, Его же ученик лукавый на смерть предаде…»

В большой задуме я шёл домой и повторял глубоко погрузившиеся в меня слова: «Поклоняемся Страстем Твоим, Христе, и святому Воскресению».

Великая Суббота

В этот день с самого зарания показалось мне, что старый сарай напротив нашего окна как бы обновился. Стал смотреть на дома, заборы, палисадник, складницу берёзовых дров под навесом, на метлу с сизыми прутиками в засолнеченных руках дворника Давыдки, и они показались обновлёнными. Даже камни на мостовой были другими. Но особенно возрадованно выглядели петухи с курами. В них было пасхальное.

В комнате густо пахло наступающей Пасхой. Помогая матери стряпать, я опрокинул на пол горшок с варёным рисом, и меня «намахали» из дому:

– Иди лучше к обедне! – выпроваживала меня мать. – Редкостная будет служба… Во второй раз говорю тебе: когда вырастешь, то такую службу поминать будешь…

Я зашёл к Гришке, чтобы и его зазвать в церковь, но тот отказался:

– С тобою сегодня не пойду! Ты меня на вынос Плащаницы зеброй полосатой обозвал! Разве я виноват, что яичными красками тогда перемазался?

В этот день церковь была как бы высветленной, хотя и стояла ещё Плащаница и духовенство служило в чёрных погребальных ризах, но от солнца, лежащего на церковном полу, шла уже Пасха. У Плащаницы читали «часы», и на амвоне много стояло исповедников.

До начала обедни я вышел в ограду. На длинной скамье сидели богомольцы и слушали долгополого старца в кожаных калошах.

– Дивен Бог во святых Своих, – выкруглял он тернистые слова. – Возьмём, к примеру, преподобного Макария Александрийского, его же память празднуем девятнадцатого января… Однажды приходит к нему в пустынное безмолвие медведица с медвежонком. Положила его у ног святого и как бы заплакала. «Что за притча?» – думает преподобный. Нагинается он к малому зверю и видит: слепой он! Медвежонок-то! Понял преподобный, почто пришла к нему медведица! Умилился он сердцем, перекрестил слепенького, погладил его, и совершилось чудо: медвежонок прозрел!

– Скажи на милость! – сказал кто-то от сердца.

– Это ещё не всё, – качнул головою старец. – На другой день приносит медведица овечью шкуру. Положила её к ногам преподобного Макария и говорит ему глазами: «Возьми от меня в дар, за доброту твою…»

Литургия Великой Субботы воистину была редкостной. Она началась как всенощное бдение с пением вечерних песен. Когда пропели «Свете тихий», то к Плащанице вышел чтец в чёрном стихаре и положил на аналой большую, воском закапанную книгу.

Он стал читать у Гроба Господня шестнадцать паремий. Больше часа читал он о переходе евреев через Чермное море, о жертвоприношении Исаака, о пророках, провидевших через века пришествие Спасителя, крестные страдания Его, погребение и Воскресение. Долгое чтение пророчеств чтец закончил высоким и протяжным пением: «Господа пойте и превозносите во вся веки.»

Это послужило как бы всполошным колоколом. На клиросе встрепенулись, зашуршали нотами и грянули волновым заплеском: «Господа пойте и превозносите во вся веки…»

Несколько раз повторил хор эту песню, а чтец воскликал сквозь пение такие слова, от которых вспомнил я слышанное выражение: «боготканые глаголы».

Благословите солнце и луна,
Благословите дождь и роса,
Благословите нощи и дни,
Благословите молнии и облацы,
Благословите моря и реки,

Благословите птицы небесныя,
Благословите звери и вси скоти.

Перед глазами встала медведица со слепым медвежонком, пришедшая к святому Макарию:

– Благословите звери!..

«Поим Господеви! Славно бо прославися!» Пасха! Это она гремит в боготканых глаголах: «Господа пойте и превозносите во вся веки!»

После чтения Апостола вышли к Плащанице три певца в синих кафтанах. Они земно поклонились лежащему во гробе и запели: «Воскресни, Боже, суди земли, яко Ты наследиши во всех языцех».

Во время пения духовенство в алтаре извлачало с себя чёрные страстные ризы и облекалось во всё белое. С престола, жертвенника и аналоев снимали чёрное и облекали их в белую серебряную парчу.

Это было до того неожиданно и дивно, что я захотел сейчас же побежать домой и обо всём этом диве рассказать матери…

Как ни старался сдерживать восторга своего, ничего поделать с собою не мог. «Надо рассказать матери… сейчас же!»

Прибежал запыхавшись домой и на пороге крикнул:

– В церкви всё белое! Сняли чёрное и кругом – одно белое… и вообще Пасха!

Ещё что-то хотел добавить, но не вышло, и опять побежал в церковь. Там уж пели особую Херувимскую песню, которая звучала у меня в ушах до наступления сумерек:

Да молчит всякая плоть
человеча и да стоит со страхом
и трепетом и ничтоже земное
в себе да помышляет.
Царь бо царствующих и Господь
господствующих приходит заклатися
и датися в снедь верным.

Канун Пасхи

Утро Великой Субботы запахло куличами. Когда мы ещё спали, мать хлопотала у печки. В комнате прибрано к Пасхе: на окнах висели снеговые занавески, и на образе «Двунадесятых праздников» с Воскресением Христовым в середине висело длинное, петушками вышитое полотенце. Было часов пять утра, и в комнате стоял необыкновенной нежности янтарный свет, никогда не виданный мною. Почему-то представилось, что таким светом залито Царство Небесное… Из янтарного он постепенно превращался в золотистый, из золотистого в румяный, и, наконец, на киотах икон заструились солнечные жилки, похожие на соломинки.

Увидев меня проснувшимся, мать засуетилась:

– Сряжайся скорее! Буди отца. Скоро заблаговестят к Спасову погребению!

Никогда в жизни я не видел ещё такого великолепного чуда, как восход солнца!

Я спросил отца, шагая с ним рядом по гулкой и свежей улице:

– Почему люди спят, когда рань так хороша?

Отец ничего не ответил, а только вздохнул. Глядя на это утро, я захотел никогда не отрываться от земли, а жить на ней вечно – сто, двести, триста лет, и чтобы обязательно столько жили и мои родители. А если доведётся умереть, чтобы и там, на полях Господних, тоже не разлучаться, а быть рядышком друг с другом, смотреть с синей высоты на нашу маленькую землю, где прошла наша жизнь, и вспоминать её.

– Тять! На том свете мы все вместе будем?

Не желая, по-видимому, огорчать меня, отец не ответил прямо, а обиняком (причём крепко взял меня за руку):

– Много будешь знать – скоро состаришься! – а про себя прошептал со вздохом: – Расстанная наша жизнь!

Над Гробом Христа совершалась необыкновенная заупокойная служба. Два священника читали поочередно «непорочны», в дивных словах оплакивавшие Господню смерть:

«Иисусе, спасительный Свете, во гробе темном скрылся еси: о несказаннаго и неизреченнаго терпения!»

«Под землею скрылся еси, яко солнце ныне, и нощию смертною покровен был еси, но возсияй Светлейше Спасе».

Совершали каждение, отпевали почившего Господа и опять читали «непорочны».

«Зашел еси Светотворче, и с Тобою зайде Свет солнца».

«В одежду поругания, Украситель всех, облекаешися, Иже небо утверди, и землю украси чудно!»

С клироса вышли певчие. Встали полукругом около Плащаницы и после возгласа священника: «Слава Тебе, показавшему нам Свет» – запели Великое славословие: «Слава в вышних Богу…»

Солнце уже совсем распахнулось от утренних одеяний и засияло во всём своём диве. Какая-то всполошная птица ударилась клювом об оконное стекло, и с крыш побежали бусинки от ночного снега.

При пении похоронного, «с завоем», «Святый Боже» при зажжённых свечах стали обносить Плащаницу вокруг церкви, и в это время перезванивали колокола.

На улице ни ветерка, ни шума, земля мягкая – скоро она совсем пропитается солнцем…

Когда вошли в церковь, то все пахли свежими яблоками.

Я услышал, как кто-то шепнул другому:

– Семиградский будет читать!

Спившийся псаломщик Валентин Семиградский, обитатель ночлежного дома, славился редким «таланом» потрясать слушателей чтением паремий и Апостола. В большие церковные

дни он нанимался купцами за три рубля читать в церкви. В длинном, похожем на подрясник сюртуке Семиградский с большой книгой в дрожащих руках подошёл к Плащанице. Всегда тёмное лицо его, с тяжёлым мохнатым взглядом, сейчас было вдохновенным и светлым.

Широким, крепким раскатом он провозгласил: «Пророчества Иезекиилева чтение.»

С волнением и чуть ли не со страхом читал он мощным своим голосом о том, как пророк Иезекииль видел большое поле, усеянное костями человеческими, и как он в тоске спрашивал Бога: «Сыне человеч! Оживут ли кости сии?» И очам пророка представилось, как зашевелились мёртвые кости, облеклись живою плотью и… встал перед ним «велик собор» восставших из гробов.

С погребения Христа возвращались со свечками. Этим огоньком мать затепляла «на помин» усопших сродников лампаду перед родительским благословением «Казанской Божией Матери». В доме горело уже два огня. Третью лампаду – самую большую и красивую, из красного стекла – мы затеплим перед Пасхальной Заутреней.

– Если не устал, – сказала мать, приготовляя творожную пасху (ах, поскорее бы разговенье! – подумал я, глядя на сладкий соблазный творог), – то сходи сегодня и к обедне. Будет редкостная служба! Когда вырастешь, то такую службу поминать будешь!

На столе лежали душистые куличи с розовыми бумажными цветами, красные яйца и разбросанные прутики вербы. Всё это освещалось солнцем, и до того стало весело мне, что я запел:

– Завтра Пасха! Пасха Господня!

1934

Светлая Заутреня

Над землёй догорала сегодняшняя литургийная песнь: «Да молчит всякая плоть человека, и да стоит со страхом и трепетом».

Вечерняя земля затихала. Дома открывали стеклянные дверцы икон. Я спросил отца:

– Это для чего?

– Это знак того, что на Пасху двери райские отверзаются!

До начала Заутрени мы с отцом хотели выспаться, но не могли. Лежали на постели рядом, и он рассказывал, как ему мальчиком пришлось встречать Пасху в Москве.

– Московская Пасха, сынок, могучая! Кто раз повидал её, тот до гроба поминать будет. Грохнет это в полночь первый удар колокола с Ивана Великого, так словно небо со звёздами упадёт на землю! А в колоколе-то, сынок, шесть тысяч пудов, и для раскачивания языка требовалось двенадцать человек! Первый удар подгоняли к бою часов на Спасской башне.

Отец приподнимается с постели и говорит о Москве с дрожью в голосе:

– Да… часы на Спасской башне… пробьют – и сразу же взвивается к небу ракета… а за ней пальба из старых орудий на Тайницкой башне – сто один выстрел!.. Морем стелется по Москве Иван Великий, а остальные сорок сороков вторят ему, как реки в половодье! Такая, скажу тебе, сила плывёт над Первопрестольной, что ты словно не ходишь, а на волнах качаешься маленькой щепкой! Могучая ночь, грому Господню подобная! Эх, сынок, не живописать словами пасхальную Москву!

Отец умолкает и закрывает глаза.

– Ты засыпаешь?

– Нет. На Москву смотрю.

– А где она у тебя?

– Перед глазами. Как живая…

– Расскажи ещё что-нибудь про Пасху!

– Довелось мне встречать также Пасху в одном монастыре. Простотой да святолепностью была она ещё лучше московской! Один монастырь-то чего стоит! Кругом – лес нехоженый, тропы звериные, а у монастырских стен – речка плещется. В неё таёжные деревья глядят и церковь, сбитая из крепких смолистых брёвен. К Светлой Заутрене собиралось сюда из окрестных деревень великое множество богомольцев. Был здесь редкостный обычай. После Заутрени выходили к речке девушки со свечами, пели «Христос воскресе», кланялись в пояс речной воде, а потом прилепляли свечи к деревянному кругляшу и по очереди пускали их по реке. Была примета: если пасхальная свеча не погаснет, то девушка замуж выйдет, а погаснет – горькой вековушкой останется! Ты вообрази только, какое там было диво! Среди ночи сотня огней плывёт по воде, а тут ещё колокола трезвонят и лес шумит!

– Хватит вам вечать-то, – перебила нас мать, – высыпались бы лучше, а то будете стоять на Заутрене сонными!

Мне было не до сна. Душу охватывало предчувствие чего-то необъяснимо огромного, похожего не то на Москву, не то на сотню свечей, плывущих по лесной реке. Встал с постели, ходил из угла в угол, мешал матери стряпать и поминутно её спрашивал:

– Скоро ли в церковь?

– Не вертись, как косое веретено! – тихо вспылила она. – Ежели не терпится, то ступай, да не балуй там!

До Заутрени целых два часа, а церковная ограда уже полна ребятами.

Ночь без единой звезды, без ветра и как бы страшная в своей необычности и огромности. По тёмной улице плыли куличи в белых платках – только они были видны, а людей как бы и нет.

В полутёмной церкви около Плащаницы стоит очередь охотников почитать Деяния апостолов. Я тоже присоединился. Меня спросили:

– Читать умеешь?

– Умею.

– Ну так начинай первым!

Я подошёл к аналою и стал выводить по складам: «Первое убо слово сотворих о Феофиле» – и никак не мог выговорить «Феофил». Растерялся, смущённо опустил голову и перестал читать. Ко мне подошли и сделали замечание:

– Куда ж ты лезешь, когда читать не умеешь?

– Попробовать хотел!..

– Ты лучше куличи пробуй! – и оттеснили меня в сторону.

В церкви не стоялось. Вышел в ограду и сел на ступеньку храма.

«Где-то сейчас Пасха? – размышлял я. – Витает ли на небе или ходит за городом, в лесу, по болотным кочкам, сосновым остинкам, подснежникам, вересковыми и можжевельными тропинками и какой имеет образ?» Вспомнился мне чей-то рассказ, что в ночь на Светлое Христово Воскресение спускается с неба на землю лествица и по ней сходит к нам Господь со святыми апостолами, преподобными, страстотерпцами и мучениками. Господь обходит землю, благословляет поля, леса, озёра, реки, птиц, человека, зверя и всё сотворённое святой Его волей, а святые поют «Христос воскресе из мертвых…». Песня святых зёрнами рассыпается по земле, и от этих зёрен зарождаются в лесах тонкие душистые ландыши.

Время близилось к полуночи. Ограда всё гуще и полнее гудит говором. Из церковной сторожки кто-то вышел с фонарём.

– Идёт, идёт! – неистово закричали ребята, хлопая в ладоши.

– Кто идёт?

– Звонарь Лександра! Сейчас грохнет!

И он грохнул.

От первого удара колокола по земле словно большое серебряное колесо покатилось, а когда прошёл гуд его, покатилось другое, а за ним третье, и ночная пасхальная тьма закружилась в серебряном гудении всех городских церквей.

Меня приметил в темноте нищий Яков.

– Светловещанный звон! – сказал он и несколько раз перекрестился.

В церкви начали служить Великую полунощницу. Пели «Волною морскою». Священники в белых ризах подняли Плащаницу и унесли в алтарь, где она будет лежать на престоле до праздника Вознесения. Тяжёлую золотую гробницу с грохотом отодвинули в сторону, на обычное своё место, и в грохоте этом тоже было значительное, пасхальное, – словно отваливали огромный камень от Гроба Господня.

Я увидал отца с матерью. Подошёл к ним и сказал:

– Никогда не буду обижать вас!

Прижался к ним и громко воскликнул:

– Весело-то как!

А радость пасхальная всё ширилась, как Волга в половодье, про которое не раз отец рассказывал. Весенними деревьями на солнечном поветрии заколыхались высокие хоругви. Стали готовиться к крестному ходу вокруг церкви. Из алтаря вынесли серебряный запрестольный крест, золотое Евангелие, огромный круглый хлеб – артос, заулыбались поднятые иконы, и у всех зажглись красные пасхальные свечи.

Наступила тишина. Она была прозрачной и такой лёгкой – если дунуть на неё, то заколеблется паутинкой. И среди этой тишины запели: «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небеси». И под эту воскрыляющую песню заструился огнями крестный ход. Мне наступили на ногу, капнули воском на голову, но я почти ничего не почувствовал и подумал: «Так пола-

гается». Пасха! Пасха Господня! – бегали по душе солнечные зайчики. Тесно прижавшись друг к другу, ночными потёмками, по струям воскресной песни, осыпаемые трезвоном и обогреваемые огоньками свечей, мы пошли вокруг белозорной от сотни огней церкви и остановились в ожидании у крепко закрытых дверей. Смолкли колокола. Сердце затаилось. Лицо запылало жаром. Земля куда-то исчезла – стоишь не на ней, а как бы на синих небесах. А люди? Где они? Всё превратилось в ликующие пасхальные свечи!

И вот огромное, чего охватить не мог вначале, – свершилось! Запели «Христос воскресе из мертвых».

Три раза пропели «Христос воскресе», и перед нами распахнулись створки высокой двери. Мы вошли в воскресший храм – и перед глазами, в сиянии паникадил, больших и малых лампад, в блёстках серебра, золота и драгоценных каменьев на иконах, в ярких бумажных цветах на куличах, – вспыхнула Пасха Господня! Священник, окутанный кадильным дымом, с заяснившимся лицом, светло и громко воскликнул:

«Христос воскресе», и народ ответил ему грохотом спадающего с высоты тяжёлого льдистого снега: «Воистину воскресе!»

Рядом очутился Гришка. Я взял его за руки и сказал:

– Завтра я подарю тебе красное яйцо! Самое наилучшее! Христос воскресе!

Неподалёку стоял и Федька. Ему тоже пообещал красное яйцо. Увидел дворника Давыда, подошёл к нему и сказал:

– Никогда не буду называть тебя подметалой-мучеником. Христос воскресе!

А по церкви молниями летали слова пасхального канона. Что ни слово, то искорка весёлого быстрого огня: «Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир видимый же весь и невидимый, Христос бо возста, веселие вечное».

Сердце моё зашлось от радости – около амвона увидел девочку с белокурыми косами, которую приметил на выносе Плащаницы! Сам не свой подошёл к ней, и, весь зардевшись, опустив глаза, я прошептал:

– Христос воскресе!

Она смутилась, уронила из рук свечечку, тихим пламенем потянулась ко мне, и мы похристосовались… а потом до того застыдились, что долго стояли с опущенными головами.

А в это время с амвона гремело пасхальное слово Иоанна Златоуста: «Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится сего доброго и светлого торжества: воскресе Христос, и жизнь жительствует!»

1937

Святое Святых

Желание войти во Святое Святых церкви не давало мне покоя.

В утренние и вечерние молитвы я вплетал затаённую свою думу: «Помоги мне, Господи, служить около Твоего престола! Если поможешь, я буду поступать по Твоим заповедям и никогда не стану огорчать Тебя!»

Бог услышал мою молитву.

Однажды пришёл к отцу соборный дьякон, принёс сапоги в починку. Увидев меня, он спросил:

– Что это тебя, отроча, в церкви не видать?

За меня ответил отец:

– Стесняется после своей незадачи на клиросе. А служить-то ему до страсти хочется!

Дьякон погладил меня по голове и сказал:

– Пустяки! Не принимай близко к сердцу. Я раз в большой праздник вместо многолетия вечную память загнул, да никому другому, а Святейшему Синоду! Не горюй, малец, приходи в субботу ко всенощной, в алтарь, кадило будешь подавать. Наденем на тебя стихарь, и будешь ты у нас церковнослужитель! Согласен?

Через смущение и радостные слёзы я прошептал нашу деревенскую благодарность:

– Спаси Господи!

И вот опять я сам не свой! Перед отходом ко сну стал отбивать частые поклоны, не произносил больше дурных слов, забросил игры и, не зная почему, взял с подоконника дедовские староверческие чётки – лестовку – и обмотал ими кисть левой руки, по-монашески.

Увидев у меня лестовку, Гришка стал дразнить:

– Э… монах в коленкоровых штанах!

Я раззадорился и хотел дать ему по спине концом висящей у меня ременной лестовки, но вовремя вспомнил наставление матери: «Да не зайдёт солнце во гневе вашем».

Наступила суббота. Умытым и причёсанным, в русской белой рубашке, помолившись на иконы, я побежал в собор ко всенощному бдению. Остановился на амвоне и не решился сразу войти в алтарь. Стоял около южных дверей и слушал, как от волнения звенела кровь.

Ко мне подошёл сторож Евстигней:

– Чего остановился? Входи. Дьякон сказывал, что пономарём хочешь быть? Давно бы так, а то захотел в певчие!.. С вороньим голосом-то! А здорово ты каркнул тогда за обедней на клиросе, – напомнил он, подмигнув смеющимся глазом, – всех рассмешил только! Регент Егор Михайлович даже запьянствовал в этот день: всю, говорит, музыку шельмец нарушил. Из-за него, разбойника, и пью! Вот ты какой хват!

Я не слышал, как вошёл в алтарь. Алтарь, где восседает Бог на престоле, и, по древним сказаниям, днём и ночью ходят со славословиями ангелы Божии, и во время Литургии взблёскивают над Чашей молнии, грешному оку невидимые… Я оцепенел весь от радости, – радости, не похожей ни на одну земную. В ней что-то страшное было и вместе с тем светлое.

– Ну, приучайся к делу! – сказал сторож. – Вот это уголь, – показал мне прессованный хорошо пахнувший кругляк с изображением креста. – Возьми огарок свечи и разгнети его. Это во-первых. Во-вторых, не касайся руками престола: место сие – святое! Далее, не переходи никогда места между престолом и Царскими вратами – грех! Не ходи также через горнее место, когда открыты Царские врата… Понял?

От спокойного тона Евстигнея и я стал спокойнее.

– А где же мой стихарь? – спросил я. – Отец дьякон обещал!

– Эк тебя разбирает! Сразу и форму ему подавай! Ну и народ, ну и детушки пошли! Ладно. Будет и стихарь, если выдержишь экзамен на кадиловозжигателя!

В это время ударили в большой колокол. От первого удара, вспомнилось мне, нечистая сила «яже в мире» вздрагивает, от второго бежит, и после третьего над землёю начинают летать ангелы, и тогда надо перекреститься.

В алтарь пришёл дьякон, улыбнулся мне: ну и хорошо!

За ним отец Василий – маленький, круглый, чернобородый. Я подошёл к нему под благословение. Он слегка постучал по моей голове костяшками пальцев и сказал:

– Служи и не балуй! Всё должно быть благообразно и по чину.

Началось всенощное бдение. Перед этим кадили алтарь, а затем, после дьяконского возгласа, запели «Благослови душе моя, Господа». Особенно понравились мне слова: «На горах станут воды, дивны дела Твоя, Господи, вся премудростию сотворил еси». Когда запели «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых… Работайте Господеви со страхом, и радуйтеся Ему с трепетом», я перекрестился и подумал, что эти слова относятся к тем, кто служит у Божьего престола, и опять перекрестился.

Когда читали на клиросе шестопсалмие, батюшка с дьяконом разговаривали. Мне слышно было, как батюшка спросил:

– Ты деньги-то за сорокоуст получил с Капитонихи?

– Нет ещё. Обещалась на днях.

– Смотри, дьякон! Как бы она нас не обжулила. Жог-баба!

Я ничего не понял из этих отрывистых слов, но подумал: разве можно так говорить в алтаре?

После всенощной я обо всём этом рассказал матери.

– Люди они, сынок, люди, – вздохнула она. – И не то, может быть, ещё увидишь и услышишь, но не осуждай. Бойся осудить человека, не разузнав его. От суесловия церковных служителей Тайны Божии не повредятся. Так же сиять они будут и чистотою возвышаться. Повредится ли хлеб, если семена его орошены грешником? Человек ещё не вырос, он дитя неразумное, ходит он путаными дорогами, но придёт время – вырастет! Будь к людям приглядчив. Душу его береги. Сострадай человеку и умей находить в нём пшеницу среди сорной травы.

– Держи карман шире! – проворчал отец, засучивая щетину в дратву. – Как я там к людям ни приглядывался, ни сострадал им, ни уступал, а они всё же ко мне по-волчьи относились. Ты, смиренница, оглянулась бы хоть раз на людей. Кто больше всего страдает? Простые сердцем, тихие, уступчивые, заповеди Господни соблюдающие. Не портила бы ты лучше мальца! Из него умного волчонка воспитать надо, а не Христова крестника!

Мать так и вскинулась на отца:

– Ты бы лучше оглянулся и узнал: кто стоит за твоей спиною?

Отец вздрогнул:

– Кто?

– Да тот, кто искушал Христа в пустыне! Не говори непутёвые слова. Они не твои. Не огорчай ангела своего. Сам же, когда выпьешь, горькими слезами перед иконами заливаешься. Не вводи ты нас в искушение. А ты, – обратилась мать ко мне, – не всякому слуху верь. У отца это бывает. Жизнь у него тяжёлая была, ну и возропщет порою. А сам-то он по-другому думает! Последнее с себя сымет и неимущему отдаст. В словах человека разбираться надо: что от души идёт и что от крови!

Причащение

Великий Четверг варили пасхальные яйца. По старинному деревенскому обычаю варили их в луковичных перьях, отчего получались они похожими на густой цвет осеннего кленового листа. Пахли они по-особенному – не то кипарисом, не то свежим тёсом, прогретым солнцем. Лавочных красок в нарядных коробках мать не признавала.

– Это не по-деревенски, – говорила она, – не по нашему обычаю!

– А как же у Григорьевых, – спросишь её, – или у Лютовых? Красятся они у них в самый разный цвет, и такие приглядные, что не наглядишься!

– Григорьевы и Лютовы – люди городские, а мы из деревни! А в деревне, сам знаешь, обычаи от Самого Христа идут…

Я нахмурился и обиженно возразил:

– Нашла чем форсить! Мне и так никакого прохода не дают: «деревенщиной» прозывают.

– А ты не огорчайся! Махни на них рукой – вразуми: деревня-то, скажи, Божиими садами пахнет, а город керосином и всякой нечистью. Это одно. А другое – не произноси ты, сынок, слова этакого нехорошего – «форсит»! Деревенского языка не бойся – он тоже от Господа идёт!

Мать вынула из чугунка яйца, уложила их в корзиночку, похожую на ласточкино гнёздышко, перекрестила их и сказала:

– Поставь под иконы. В Светлую Заутреню святить понесёшь.

На Страстной неделе тише ходили, тише разговаривали и почти ничего не ели. Вместо чая пили сбитень (горячую воду с патокой) и закусывали его чёрным хлебом. Вечером ходили в монастырскую церковь, где службы были уставнее и строже. Из этой церкви мать принесла на днях слова, слышанные от монашки:

– Для молитвы пост есть то же, что для птицы крылья!

Великий Четверг был весь в солнце и голубых ручьях. Солнце выпивало последний снег, и с каждым часом земля становилась яснее и просторнее. С деревьев стекала быстрая капель. Я ловил её в ладонь и пил – говорят, что от неё голова болеть не будет…

Под деревьями лежал источенный капелью снег, и, чтобы поскорее наступила весна, я разбрасывал его лопатой по солнечным дорожкам.

В десять часов утра ударили в большой колокол к четверговой Литургии. Звонили уже не по-великопостному (медлительно и скорбно), а полным частым ударом. Сегодня у нас «причастный» день. Вся семья причащалась Святых Христовых Таин.

Шли в церковь краем реки. По голубой шумливой воде плыли льдины и разбивались одна о другую. Много кружилось чаек, и они белизною своей напоминали издали летающие льдинки.

Около реки стоял куст с красными прутиками, и он особенно заставил подумать, что у нас весна, и скоро-скоро все эти бурые склоны, взгорья, сады и огороды покроются травами, покажется «весень» (первые цветы) и каждый камень и камешек будет тёплым от солнца.

В церкви не было такой густой черноризной скорби, как в первые три дня Страстной недели, когда пели «Се Жених грядет в полунощи» и про чертог украшенный.

Вчера и раньше всё напоминало Страшный Суд. Сегодня же звучала тёплая, слегка успокоенная скорбь: не от солнца ли весеннего?

Священник был не в чёрной ризе, а в голубой. Причастницы стояли в белых платьях и были похожи на весенние яблони – особенно девушки.

На мне была белая вышитая рубашка, подпоясанная афонским пояском. На мою рубашку все смотрели, и какая-то барыня сказала другой:

– Чудесная русская вышивка!

Я был счастлив за свою мать, которая вышила мне такую ненаглядную рубашку.

Тревожно забили в душе тоненькие, как птичьи клювики, серебряные молоточки, когда запели перед Великим выходом: «Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими: не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзание Ти дам яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем».

«Причастника мя приими…» – высветлялись в душе серебряные слова.

Вспомнились мне слова матери: «Если радость услышишь, когда причастишься, – знай, это Господь вошёл в тебя и обитель в тебе сотворил».

С волнением ожидал я Святого Таинства.

– Войдет ли в меня Христос? Достоин ли я?

Вострепетала душа моя, когда открылись Царские врата, вышел на амвон священник с золотой Чашей и раздались слова:

– Со страхом Божиим и верою приступите!

Из окна прямо в Чашу упали солнечные лучи, и она загорелась жарким опаляющим светом.

Неслышный, с крестообразно сложенными руками, подошёл к Чаше. Слёзы зажглись на глазах моих, когда сказал священник: «Причащается раб Божий во оставление грехов и в жизнь вечную». Уст моих коснулась золотая солнечная лжица, а певчие пели, мне, рабу Божиему, пели: «Тела Христова приимите, источника безсмертнаго вкусите». По отходе от Чаши долго не отнимал от груди крестообразно сложенных рук – прижимал вселившуюся в меня радость Христову…

Мать и отец поцеловали меня и сказали:

– С принятием Святых Таин!

В этот день я ходил словно по мягким пуховым тканям – самого себя не слышал. Весь мир был небесно тихим, переполненным голубым светом, и отовсюду слышалась песня: «Вечери Твоея тайныя… причастника мя приими».

И всех на земле было жалко, даже снега, насильно разбросанного мной на сожжение солнцу. Пускай доживал бы крохотные свои дни!

Преждеосвященная

После долгого чтения часов с коленопреклонными молитвами на клиросе горько-горько запели: «Во Царствии Твоем помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствие Твое…»

Литургия с таким величавым и таинственным наименованием «Преждеосвященная» началась не так, как всегда.

Алтарь и амвон в ярком сиянии мартовского солнца. По календарю завтра наступает весна, и я, как молитву, тихо шепчу раздельно и радостно: «Вес-на!» Подошёл к амвону. Опустил руки в солнечные лучи и, склонив набок голову, смотрел, как по руке бегали зайчики. Я старался покрыть их шапкой, чтобы поймать, а они не давались. Проходивший церковный сторож ударил меня по руке и сказал: «Не балуй». Я сконфузился и стал креститься.

После чтения первой паремии открылись Царские врата. Все встали на колени, и лица богомольцев наклонились к самому полу. В неслышную тишину вошёл священник с зажжённой свечой и кадилом. Он крестообразно осенил коленопреклонённых святым огнём и сказал:

– Премудрость, прости! Свет Христов просвещает всех…

Ко мне подошёл приятель Витька и тихо шепнул:

– Сейчас Колька петь будет. Слушай, вот где здорово!

Колька живёт на нашем дворе. Ему только девять лет, и он уже поёт в хоре. Все его хвалят, и мы, ребятишки, хоть и завидуем ему, но относимся с почтением.

И вот вышли на амвон три мальчика, и среди них Колька. Все они в голубых ризах с золотыми крестами, и так напомнили трёх отроков-мучеников, идущих в пещь огненную на страдание во имя Господа!

В церкви стало тихо-тихо, и только в алтаре серебристо колебалось кадило в руке батюшки.

Три мальчика чистыми, хрустальноломкими голосами запели: «Да исправится молитва моя… Яко кадило пред Тобою… Вонми гласу моления моего.»

Колькин голос, как птица, взлетает всё выше и выше и вот-вот упадёт, как талая льдинка с высоты, и разобьётся на мелкие хрусталики.

Я слушаю его и думаю: «Хорошо бы и мне поступить в певчие! Наденут на меня тоже нарядную ризу и заставят петь. Я выйду на середину церкви, и батюшка будет кадить мне, и все будут смотреть на меня и думать: “Ай да Вася! Ай да молодец!” И отцу с матерью будет приятно, что у них такой умный сын…»

Они поют, а батюшка звенит кадилом сперва у престола, а потом у жертвенника, и вся церковь от кадильного дыма словно в облаках.

Витька – первый баловник у нас на дворе – и тот присмирел. С разинутым ртом он смотрит на голубых мальчиков, и в волосах его шевелится солнечный луч. Я обратил на это внимание и сказал ему:

– У тебя золотой волос!

Витька не расслышал и ответил:

– Да, у меня неплохой голос, но только сиплый маленько, а то я бы спел!

К нам подошла старушка и сказала:

– Тише вы, баловники!

Во время Великого входа вместо всегдашней «Херувимской» пели: «Ныне Силы Небесныя с нами невидимо служат, се бо входит Царь Славы, се жертва тайная совершена доносится».

Тихо-тихо, при самой беззвучной тишине батюшка перенёс Святые Дары с жертвенника на престол, и при этом шествии все стояли на коленях лицом вниз, даже певчие.

А когда Святые Дары были перенесены, то запели хорошо и трогательно: «Верою и любовию приступим, да причастницы жизни вечныя будем».

По закрытии Царских врат задёрнули алтарную завесу только до середины, и нам с Витькой это показалось особенно необычным. Витька мне шепнул:

– Иди скажи сторожу, что занавеска не задернулась!..

Я послушался Витьку и подошёл к сторожу, снимавшему огарки с подсвечника:

– Дядя Максим, гляди, занавеска-то не так…

Сторож посмотрел на меня из-под косматых бровей и сердито буркнул:

– Тебя забыли спросить! Так полагается.

По окончании Литургии Витька уговорил меня пойти в рощу.

– Подснежников там – страсть! – взвизгнул он.

Роща была за городом, около реки. Мы пошли по душистому предвесеннему ветру, по сверкающим лужам и золотой от солнца грязи и громко вразлад пели только что отзвучавшую в церкви молитву: «Да исправится молитва моя» – и чуть не переругались из-за того, чей голос лучше.

А когда в роще, которая гудела по-особенному, по-весеннему, напали на тихие голубинки подснежников, то почему-то обнялись друг с другом и стали смеяться и кричать на всю рощу… А что кричали, для чего кричали – мы не знали.

Затем шли домой с букетиками подснежников, и я мечтал о том, как хорошо поступить в церковный хор, надеть на себя голубую ризу и петь: «Да исправится молитва моя».

Исповедь

– Ну, Господь тебя простит, сынок… Иди с молитвой. Да смотри, поуставнее держи себя в церкви. На колокольню не лазай, а то пальто измызгаешь. Помни, что за шитьё-то три целковых плочено, – напутствовала меня мать к исповеди.

– Деньги-то в носовой платок увяжи, – добавил отец, – свечку купи за три копейки и батюшке за исповедь дашь пятачок. Да смотри, ежова голова, не проиграй в «орла и решку» и батюшке отвечай по совести!

– Ладно! – нетерпеливо буркнул я, размашисто крестясь на иконы.

Перед уходом из дома поклонился родителям в ноги и сказал:

– Простите меня, Христа ради!

На улице звон, золотая от заходящего солнца размытая дорога, бегут снеговые звонкие ручейки, на деревьях сидят скворцы, по-весеннему гремят телеги, и далеко-далеко раздаются их дробные скачущие шумы.

Дворник Давыд раскалывает ломом рыхлый лёд, и он так хорошо звенит, ударяясь о камень.

– Куда это ты таким пижоном вырядился? – спрашивает меня Давыд, и голос его – особенный, не сумеречный, как всегда, а чистый и свежий, словно его прояснил весенний ветер.

– Исповедаться! – важно ответил я.

– В добрый час, в добрый, но только не забудь сказать батюшке, что ты прозываешь меня «подметалой-мучеником», – осклабился дворник.

На это я буркнул:

– Ладно!

Мои приятели Котька Лютов и Урка Дубин пускают в луже кораблики из яичной скорлупы и делают из кирпичей запруду.

Урка недавно ударил мою сестрёнку, и мне очень хочется подойти к нему и дать подзатыльника, но вспоминаю, что сегодня исповедь и драться грешно. Молча, с надутым видом прохожу мимо.

– Ишь, Васька зафорсил-то! – насмешливо отзывается Котька. – В пальте новом… в сапогах, как кот… Обувь лаковая, а рожа аховая!

– А твой отец моему тятьке до сих пор полтинник должен! – сквозь зубы возражаю я и осторожно, чтобы не забрызгать грязью лакированных сапог, медленно ступаю по панели.

Котька не остаётся в долгу и кричит мне вдогонку звонким рассыпным голосом:

– Сапожные шпильки!

Ах, с каким наслаждением я наклал бы ему по шее за «сапожные шпильки»! Форсит, адиёт, шкилетина, что у него отец в колбасной служит, а мой тятька сапожник… Сапожник, да не простой! Купцам да отцам дьяконам сапоги шьёт, не как-нибудь!

Гудят печальные великопостные колокола.

«Вот ужо… после исповеди я Котьке покажу!» – думаю я, подходя к церкви.

Церковная ограда. Шершавые вязы и мшистые берёзы. Длинная зелёная скамейка, залитая дымчатым вечерним солнцем. На скамейке сидят исповедники и ждут начала Великого повечерия. С колокольни раздаются голоса ребят, вспугивающие церковных голубей. Кто-то увидел меня с высоты и кличет:

– Ва-а-сь-ка! Сыпь сюда!

Я как будто бы не слышу, а самому очень хочется подняться по старой скрипучей лестнице на колокольню, позвонить в колокол, с замиранием сердца поглядеть на разбросанный город и следить, как тонкие бирюзовые сумерки окутывают вечернюю землю, и слушать, как замирают и гаснут вечерние шумы.

«Одёжу и сапоги измызгаешь, – вздыхаю я, – нехорошо, когда ты во всём новом!»

– И вот, светы мои, в пустыни-то этой подвизались три святолепных старца, – рассказывает исповедникам дядя Осип, кладбищенский сторож. – Молились, постились и трудились… да… трудились… А кругом одна пустыня.

Я вникаю в слова дяди Осипа, и мне представляется пустыня, почему-то в виде неба без облаков.

– Васька! И ты исповедаться? – раздаётся сиплый голос Витьки.

На него я смотрю сердито. Вчера я проиграл ему три копейки, данные матерью, чтобы купить мыла для стирки, за что и влетело мне по загривку.

– Пойдём сыгранём в орла и решку, а? – упрашивает меня Витька, показывая пятак.

– С тобой играть не буду! Ты всегда жулишь!

– И вот пошли три старца в един град к мужу праведному, – продолжает дядя Осип.

Я смотрю на его седую длинную бороду и думаю: «Если бы дядя Осип не пьянствовал, то он обязательно был бы святым!..»

Великое повечерие. Исповедь. Густой душистый сумрак. В душу глядят строгие глаза батюшки в тёмных очках.

– Ну, сахар-то, поди, таскал без спросу? – ласково спрашивает меня.

Боясь поднять глаза на священника, я дрожащим голосом отвечаю:

– Не… у нас полка высокая!..

И когда спросил он меня: «Какие же у тебя грехи?» – я после долгого молчания вдруг вспомнил тяжкий грех. При одной мысли о нём бросило меня в жар и холод.

«Вот, вот, – встревожился я, – сейчас этот грех узнает батюшка, прогонит с исповеди и не даст завтра Святого Причастия.»

И чудится, кто-то темноризый шепчет мне на ухо: «Кайся!»

Я переминаюсь с ноги на ногу. У меня кривится рот, и хочется заплакать горькими покаянными слезами.

– Батюшка… – произношу сквозь всхлипы. – Я… я… в Великом посту… колбасу трескал! Меня Витька угостил. Я не хотел… но съел!..

Священник улыбнулся, осенил меня тёмной ризой, обвеянной фимиамными дымками, и произнёс важные, светлые слова.

Уходя от аналоя, я вдруг вспомнил слова дворника Давыда, и мне опять стало горько. Выждав, пока батюшка происповедал кого-то, я подошёл к нему вторично.

– Ты что?

– Батюшка! У меня ещё один грех. Забыл сказать его… Нашего дворника Давыда я называл «подметалой-мучеником».

Когда и этот грех был прощён, я шёл по церкви с сердцем ясным и лёгким и чему-то улыбался.

Дома лежу в постели, покрытый бараньей шубой, и сквозь прозрачный тонкий сон слышу, как отец тачает сапог и тихо, с переливами, по-старинному напевает: «Волною морскою, скрывшаго древле». А за окном шумит радостный весенний дождь.

Снился мне рай Господень. Херувимы поют. Цветочки смеются. И как будто бы сидим мы с Котькой на травке, играем наливными райскими яблоками и друг у друга просим прощения.

– Ты прости меня, Вася, что я тебя «сапожными шпильками» обозвал!

– И ты, Котя, прости меня. Я тебя «шкилетом» ругал!

А кругом рай Господень и радость несказанная!

1935

Тайнодействие

Впервые услышанное слово «проскомидия» почему-то представилось мне в образе безгромных ночных молний, освещающих ржаное поле. Оно прозвучало для меня так же таинственно, как слова «молния», «всполох», «зорники» и слышанное от матери волжское определение зарниц – «хлебозар»!

Божественная проскомидия открылась мне в летнее солнечное воскресенье в запахе лип, проникавшем в алтарь из причтового сада, и литургийном благовесте.

Перед совершением её священник с дьяконом долго молились перед затворёнными Святыми вратами, целовали иконы Спасителя и Божией Матери, а затем поклонились народу. В церкви почти никого не было, и я не мог понять: кому же кланяются священнослужители? Пузатому старосте, что ли, считающему у выручки медную монету, или Божией хлебнице-просфорне, вынимающей из мешка просфоры? Об этом я спросил чтеца Никанора Ивановича, и он объяснил мне мудрёными церковными словами:

– Всему миру кланяются! Ибо сказано в чине священныя и Божественныя Литургии: «Хотяй священник Божественное совершити тайнодействие, должен есть примирен быти со всеми».

Духовенство облачалось в ризы. Я не сводил глаз с этого не виданного мною обряда. Батюшка надел на себя длинную, как у Христа, шёлковую одежду – подризник – и произнес звучащие тихим серебром слова: «Возрадуется душа моя о Господи, облече бо мя в ризу спасения, и одеждою веселия одея мя, яко жениху возложи ми венец, и яко невесту украси мя красотою».

Облачённый в стихарь дьякон, видя мое напряжённое внимание, шёпотом стал пояснять мне:

– Подризник знаменует собою хитон Господа Иисуса Христа.

Священник взял епитрахиль и, назнаменав её крестным осенением, сказал: «Благословен Бог изливай благодать Свою яко миро на главы, сходящее на ометы одежди Его».

– Епитрахиль – знак священства и помазания Божия…

Облекая руки парчовыми нарукавницами, священник произнес: «Руци Твои сотвористе мя и создаете мя: вразуми мя, и научуся заповедем Твоим» – и при опоясании парчовым широким поясом: «Благословен Бог препоясуй мя силою, и положи непорочен путь мой… на высоких поставляяй мя».

– Пояс знаменует препоясание Господа перед совершением Тайной вечери, – прогудел мне дьякон.

Священник облачился в самую главную ризу – фелонь, произнеся литые, как бы вспыхивающие слова: «Священницы Твои, Господи, облекутся в правду, и преподобнии Твои радостию возрадуются.»

Облачившись в полное облачение, он подошёл к глиняному умывальнику и вымыл руки. «Умыю в неповинных руце моя и обыду жертвенник Твой, Господи… возлюбих благолепие дому Твоего и место селения славы Твоея.»

На жертвеннике, к которому подошли священник с дьяконом, стояли залитые солнцем Чаша, дискос, звездица, лежали пять больших служебных просфор, серебряное копьецо, парчовые покровы. От солнца жертвенник дымился, и от Чаши излучалось острое сияние.

Проскомидия была выткана драгоценными словами: «Воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки гласы своя… Дивны высоты морские, дивен в высоких Господь. Святися и прославися пречистое и великолепное имя Твое.»

Священник с дьяконом молились о памяти и оставлении грехов царям, царицам, патриархам и всем-всем, кто населяет землю, и о тех молились, кого призвал Бог в пренебесное Своё Царство.

Много произносилось имён, и за каждое имя вынималась из просфоры частица и клалась на серебряное блюдце-дискос. Тайна Литургии до сего времени была закрыта Царскими вратами и завесой, но теперь она вся предстала предо мною. Я был участником претворения хлеба в Тело Христово и вина в истинную Кровь Христову, когда на клиросе пели: «Тебе поем, Тебе благословим», а священник с душевным волнением произносил: «И сотвори убо хлеб сей, честное Тело Христа Твоего, а еже в чаше сей, честную Кровь Христа Твоего. Аминь, аминь, аминь…»

В этот день я испытывал от пережитого впечатления почти болезненное чувство; щёки мои горели, временами била лихорадка, в ногах была слабость. Не пообедав как следует, я сразу же лёг в постель. Мать заволновалась:

– Не заболел ли ты? Ишь, и голова у тебя горячая, и щёки как жар горят!

Я стал рассказывать матери о том, что видел сегодня в алтаре, и, рассказывая, чувствовал, как по лицу моему струилось что-то похожее на искры.

– Великое и непостижимое это дело, совершение Таин Христовых, – говорила мать, сидя на краю моей постели. – В это время даже ангелы закрывают крылами свои лица, ибо ужасаются тайны сия!

Она вдруг задумалась и как будто стала испуганной.

– Да, живём мы пока под ризою Божией, Таин Святых причащаемся, но наступит, сынок, время, когда сокроются от людей Христовы Тайны… Уйдут они в пещеры, в леса тёмные, на высокие горы. Дед твой Евдоким не раз твердил: «Ой, лютые придут времена. Все святости будут поруганы, все исповедники имени Христова смерть лютую и поругания примут. И наступит тогда конец свету!»

– А когда это будет?

– В ладони Божией эти сроки, а когда разогнётся ладонь – об этом не ведают даже ангелы. У староверов на Волге поверье ходит, что Второе пришествие Спасителя будет ночью, при великой грозе и буре. Деды наши сурово к этому Дню приуготовлялись.

– Как же?

– Наступит, бывало, ночная гроза. Бабушка будит нас. Встаём и в чистые рубахи переодеваемся, а старики в саваны – словно к смертному часу готовимся. Бабушка с молитвою лампады затепляет. Мы садимся под иконы, в молчании и трепете слушаем грозу и крестимся. Во время такой грозы приходили к нам сродственники, соседи, чтобы провести грозные Господни часы вместе. Кланялись они в землю иконам и без единого слова садились на скамью. Дед, помню, зажигал жёлтую свечу, садился за стол и зачинал читать Евангелие, а потом пели мы «Се Жених грядет в полунощи, и блажен раб Его же обрящет бдящим…». Дед твой часто говаривал: «Мы-то, старики, ещё поживём в мире, но вот детушкам да внукам нашим в большой буре доведётся жить!»

Радуница

Есть такие дни в году, когда на время воскресают мёртвые. К таким дням принадлежит и Радуница. Она всегда во вторник на второй неделе по Пасхе. В Радуницу живые ходят на кладбище христосоваться с погребёнными. В этот день грех думать о смерти, ибо все мы воскреснем. Накануне или рано утром в церквах служат заупокойную утреню. Она не огорчает, а радует. Всё время поют «Христос воскресе», и вместо «надгробного рыдания» раздаётся пасхальное: «Аще и во гроб снизшел еси Безсмертне».

Заупокойную Литургию называют «Обрадованной». В церковь приносят на поминальный стол пасхальные яйца, куличи и кутью. Всё это по окончании панихиды уносится на кладбище, рассыпается по могильным холмикам для розговен усопших. Радуница – Пасха мёртвых!

Хорошее слово «Радуница»! Так и видишь её в образе красного яйца, лежащего в зелёных стебельках овса в корзинке из ивовых прутьев.

И до чего это чудесны наши русские слова! Если долго вслушиваться в них и повторять раздельно и со смыслом одно только слово – и уже всё видишь и слышишь, что заключено в нём. Как будто бы и короткое оно, но попробуй, вслушайся… Вот, например, слово «ручеёк». Если повторять его часто-часто и вслух, то сразу и услышишь: ручеёк журчит между камешками!

Или другое слово – «зной». Зачнёшь долго тянуть букву «з», то так и зазвенит этот зной, наподобие тех мух, которых только и слышишь в полуденную ржаную пору.

Произнёс я слово «вьюга», и в ушах так и завыло это зимнее, лесное: ввв-и-ю…

Сказал как-то при мне своим басом дворник Давыд: «Гром», и я сразу услышал громовой раскат за лесною синью.

В день Радуницы много перебрал всяких слов и подумал с восторженным, впервые охватившим меня чувством: «Хорошо быть русским!»

Мы пошли на кладбище. Каждая травинка, каждый распустившийся листок на деревьях и кустах и всё живое вместе с мёртвым были освещены солнцем. Везде служили панихиды. С разных сторон обширного старинного кладбища долетали голоса песнопений: «*Со духи праведных скончавшихся», «Воскресение День просветимся, людие», «Смертию смерть поправ…», «Вечная память…».*

На многих могилках совершались поминки. Пили водку и закусывали пирогами. Говорили о покойниках как о живых людях, ушедших на новые жительные места.

Останавливаясь у родных могил, трижды крестились и произносили:

– Христос Воскресе!

Хоть и говорили кругом о смертном, но это не пугало.

– Жизнь – бесконечная… Все мы воскреснем… Все встретимся… – доносились до меня слова священника, утешавшего после панихиды богатую купчиху Задонскую, недавно похоронившую единственного сына.

Между могил с визгом бегали ребята, играя в палочку-воровочку. На них шикали и внушали «нехорошо», а они задумаются немножко и опять за своё.

Батюшка Знаменской церкви отец Константин, проходя с кадилом мимо ребят, улыбнулся и сказал своему дьякону:

– Ишь они, бессмертники!..

– Да шумят уж очень… Нехорошо это… на кладбище.

– Пусть шумят… – опять сказал батюшка. – Смерти празднуем умерщвление!..

На ступеньках усыпальницы, похожей на часовню, сидел сухощавый и как бы щетинистый старик и говорил сердитым голосом, без передышек и заминок, окружавшим его людям:

– Поминальные дни суть: третины, девятины, сорочины, полугодины, годины, родительские субботы и вселенские панихиды.

– Это мы знаем, – сказал кто-то из толпы.

– Знать-то вы знаете, а что к чему относится, мало кто ведает. Почему по смерти человека три дня бывает поминовение его? Не знаете. Потому, чтобы дать душе умершего облегчение в скорби, кою она чувствует по разлучении с телом. В течение двух дней душа вместе с ангелами ходит по земле, по родным местам, около родных и близких своих и бывает подобна птице, не имущей гнезда себе, а на третий возносится к Богу.

– А в девятый? – спросила баба.

– В этот день ангелы показывают душе различные обители святых и красоту рая. И душа люто страждет, что не восхотела она на земле добрыми делами уготовить себе жилище праведных…

В это время пьяный мастеровой в зелёной фуражке и с сивой бородою с тоскою спросил старика:

– А как же пьяницы? Какова их планида?

– Пьяницы Царствия Божия не наследуют! – отрезал старик, и он мне сразу не понравился. Всё стало в нём ненавистно, даже усы его щетинистые и злые. Мне захотелось высунуть язык старику, сказать ему «старый хрен», но в это время заплакал пьяный мастеровой.

– Недостойные мы люди… – всхлипывал он. – Мазурики! И за нас-то, мазуриков и сквернавцев, Господь плакал в саду Гефсиманском и на Крест пошёл вместе с разбойниками!..

Мне захотелось подойти к пьяному и сказать ему словами матери: «Слёзы да покаяние двери райские отверзают.»

Старик посмотрел прищуренным вороньим глазом на скорбящего пьяницу, облокотившегося на чей-то деревянный крест, и сказал, как пристав:

– Не нарушай общественной тишины! Не мешай людям слушать… греховодник! В течение тридцати дней душа водится по разным затворам ада, а засим возносится опять к Богу и получает место до Страшного Суда Божия.

«И почему такие хорошие святые слова старик выговаривает сухим и злым языком? – думал я. – Вот мать моя по-другому скажет, легко, и каждое её слово светиться будет… Выходит, что и слова-то надо произносить умеючи… чтобы они драгоценным камнем стали.»

Мимо меня прошли две старухи. Одна из них, в ковровом платке поверх салопа, говорила:

– Живёт, матушка, в одной стране… птица… и она так поёт, что, слушая её, от всех болезней можно поправиться. Вот бы послушать!..

Время приближалось к сумеркам, и Радуница затихала. Всё реже и реже слышались голоса песнопений, но как хорошо было слушать их в эти ещё не угасшие пасхальные сумерки: «Христос воскресе из мертвых.»

Отдание Пасхи

В течение сорока дней в церкви поют «Христос воскресе».

– В канун Вознесения, – толковал мне Яков, – Плащаницу, что лежала на престоле с самой Светлой Заутрени, положат в гробницу, и будет покоиться она в гробовой сени до следующего Велика Дня… Одним словом, прощайся, Васенька, с Пасхой!

Я очень огорчился и спросил Якова:

– Почему это всё хорошее так скоро кончается?

– Пока ещё не всё кончилось! Разве тебе мать не сказывала, что ещё раз можно услышать Пасхальную Заутреню… на днях!

Меня бросило в жар.

– Пасхальная Заутреня? На днях? Да может ли это быть, когда черёмуха цветёт? Врёшь ты, Яков!

– Ничего не вру! День этот по-церковному называется «Отдание Пасхи», а по-народному – «прощание с Пасхой»!

Когда я рассказал об этом Гришке, Котьке и дворнику Давыдке, то они стали смеяться надо мною.

– Ну и болван же ты! – сказал дворник. – Что ни слово у тебя, то на пятачок убытку! Постыдился бы: собаки краснеют от твоих глупостев!

Мне это было не по сердцу, и я обозвал Давыдку таким словом, что он сразу же пожаловался моему отцу.

Меня драли за вихры, но я утешал себя тем, что пострадал за правду, и вспомнил пословицу: «За правду и тюрьма сладка!»

А мать выговаривала мне:

– Не произноси, сынок, чёрных слов! Никогда! От этих слов тёмным станешь, как эфиоп, и Ангел твой, что за тобою ходит, навсегда покинет тебя!

И обратилась к отцу:

– Наказание для ребят наша улица: казёнка, две пивных да трактир! Переехать бы нам отсюда, где травы побольше да садов… Нехорошо, что в город мы перебрались! Жили бы себе в деревне.

Перед самым Вознесением я пошёл в церковь. Последнюю Пасхальную Заутреню служили рано утром, в белых ризах, с пасхальною свечою, но в церкви почти никого не было. Никто не знает в городе, что есть такой день, когда Церковь прощается с Пасхой.

Всё было так же, как в Пасхальную Заутреню ночью, – только свет был утренний да куличей и шума не было, и, когда батюшка возгласил народу: «Христос воскресе», не раздалось этого весёлого грохота: «Воистину воскресе!»

В последний раз пели «Пасха священная нам днесь показася».

После Пасхальной Литургии из алтаря вынесли святую Плащаницу, положили её в золотую гробницу и накрыли стеклянной крышкой.

И почему-то стало мне тяжело дышать, точно так же, как это было на похоронах братца моего Иванушки.

Я стал считать по пальцам – сколько месяцев осталось до другой Пасхи, но не мог сосчитать… Очень и очень много месяцев!

После службы я провожал Якова до ночлежного дома, и он дорогою говорил мне:

– Доживём ли до следующей Пасхи? Ты-то, милый, в счёт не идёшь! Доскачешь! А вот я – не знаю. Пасха! – улыбнулся он горько. – Только вот из-за неё не хочется помирать!.. И скажу тебе, если бы не было на земле Пасхи, почернел бы человек от горя! Нужна Пасха человеку!

Мы дошли до ночлежного дома. Сели на скамью. Около нас очутились посадские, нищебродная братия, босяки, пьяницы и, может быть, воры и губители. Среди них была и женщина в тряпье, с лиловатым лицом и дрожащими руками.

– В древние времена, – рассказывал Яков, – после обедни в Великую Субботу никто не расходился по домам, а оставались в храме до Светлой Заутрени, слушая чтение Деяний апостолов… Когда я был в Сибири, то видел, как около церквей разводили костры в память холодной ночи, проведённой Христом при дворе Пилата… Тоже вот: когда все выходят с крестным ходом из церкви во время Светлой Заутрени, то святые угодники спускаются со своих икон и христосуются друг с другом.

Женщина с лиловым лицом хрипло рассмеялась. Яков посмотрел на неё и заботливо сказал:

– Смех твой – это слёзы твои!

Женщина подумала над словами, вникла в них и заплакала.

Во время беседы пришёл бывший псаломщик Семиградский, которого купцы вытаскивали из ночлежки читать за три рубля в церкви паремии и Апостол по большим праздникам и про которого говорили: «Страшенный голос».

Выслушав Якова, он откашлялся и захотел говорить.

– Да, мало что знаем мы про свою Церковь, – начал он, – а называемся православными!.. Ну, скажите мне, здесь сидящие, как называется большой круглый хлеб, который лежит у Царских врат на аналое в Пасхальную седмицу?

– Артос! – почти одновременно ответили мы с Яковом.

– Правильно! Называется он также «просфора всецелая». А каково обозначение? Не знаете! В апостольские времена, во время трапезы, на столе ставили прибор для Христа в знак невидимого Его сотрапезования…

– А когда в церкви будут выдавать артос? – спросила женщина и почему-то застыдилась.

– Эка хватилась! – с тихим упреком посмотрел на неё Яков. – Артос выдавали в субботу на Светлой неделе. К Вознесению, матушка, подошли, а ты – артос!

– Ты мне дай крошинку, ежели имеешь, – попросила она, – я хранить её буду!

Семиградский разговорился и был рад, что его слушают.

– Вот поют за всенощным бдением «Свете тихий»… А как произошла эта песня, никто не знает.

Я смотрел на него и размышлял: «Почему люди так презирают пьяниц? Среди них много хороших и умных!»

– Однажды патриарх Софроний, – рассказывал Семиградский, словно читая по книге, – стоял на Иерусалимской горе. Взгляд его упал на потухающее палестинское солнце. Он представил, как с этой горы смотрел Христос, и такой же свет, подумал он, падал на лицо Его, и так же колебался золотой воздух Палестины. Вещественное солнце напомнило патриарху незаходимое Солнце – Христа, и это так растрогало патриарха, что он запел в святом вдохновении: «Свете тихий, святыя славы.»

«Обязательно с ним подружусь!» – решил я, широко смотря на Семиградского.

В этот день я всем приятелям своим рассказывал, как патриарх Софроний, глядя на заходящее палестинское солнце, пел: «Свете тихий, святыя славы».

Земля-именинница

Берёзы под нашими окнами журчали о приходе Святой Троицы. Сядешь в их засень, сольёшься с колебанием сияющих листьев, зажмуришь глаза, и представится тебе пересветная и струистая дорожка, как на реке при восходе солнца; и по ней в образе трёх белоризных Ангелов шествует Святая Троица.

Накануне праздника мать сказала:

– Завтра земля – именинница!

– А почему именинница?

– А потому, сынок, что завтра Троицын день сойдётся со святым Симоном Зилотом, а на Симона Зилота земля – именинница: по всей Руси мужики не пашут!

– Земля-именинница!

Эти необычайные слова до того были любы, что вся душа моя засветилась.

Я выбежал на улицу. Повстречал Федьку с Гришкой и спросил их:

– Угадайте, ребята, кто завтра именинница? Ежели угадаете, то я куплю вам боярского квасу на две копейки!

Ребята надулись и стали думать. Я смотрел на них, как генерал Скобелев с белого коня (картинка такая у нас).

Отец не раз говорил, что приятели мои Федька и Гришка – не дети, а благословение Божие, так как почитают родителей, не таскают сахар без спросу, не лазают в чужие сады за яблоками и читают по печатному так ловко, словно птицы летают. Мне было радостно, что таким умникам я загадал столь мудрёную загадку. Они думали, думали и, наконец, признались со вздохом:

– Не можем. Скажи.

Я выдержал степенное молчание, высморкался и с упоением ответил:

– Завтра земля – именинница!

Они хотели поднять меня на смех, но потом, сообразив что-то, умолкли и задумались.

– А это верно, – сказал серьёзный Федька, – земля в Троицу завсегда нарядная и веселая, как именинница!

Ехидный Гришка добавил:

– Хорошая у тебя голова, Васька, да жалко, что дураку досталась!

Я не выдержал его ехидства и заревел. Из окна выглянул мой отец и крикнул:

– Чего ревёшь? Сходил бы лучше с ребятами в лес за берёзками!

Душистое и звенящее слово «лес» заставило дрогнуть моё сердце. Я перестал плакать. Примирённый, схватил Федьку и Гришку за руки и стал молить их пойти за берёзками.

Взяли мы из дома по ковриге хлеба и пошли по главной улице города с песнями, хмельные и радостные от предстоящей встречи с лесом. А пели мы песню сапожников, проживавших на нашем дворе:

Моя досада не рассада:
Не рассадишь по грядам;
А моя кручина не лучина:
Не сожжёшь по вечерам.

Нас остановил пузатый городовой Гаврилыч и сказал:

– Эй вы, банда! Потише!

В лесу было весело и ярко до изнеможения, до боли в груди, до радужных кругов перед глазами.

Повстречались нам в чаще дровосеки. Один из них, борода, что у лесовика, посмотрел на нас и сказал:

– Ребята живут, как ал цвет цветут, а наша голова вянет, что трава…

Было любо, что нам завидуют и называют алым цветом.

Перед тем как пойти домой с тонкими звенящими берёзками, радость моя была затуманена.

Выйдя на прилесье, Гришка предложил нам погадать на кукушку – сколько, мол, лет мы проживём.

Кукушка прокуковала Гришке восемьдесят лет, Федьке шестьдесят пять, а мне всего лишь два года.

От горькой обиды я упал на траву и заплакал:

– Не хочу помирать через два года!

Ребята меня жалели и уговаривали не верить кукушке, так как она, глупая птица, всегда врёт. И только тогда удалось меня успокоить, когда Федька предложил вторично «допросить» кукушку.

Я повернул заплаканное лицо в её сторону и сквозь всхлипывание стал просить вещую птицу:

– Кукушка, ку-у-ку-шка, прокукуй мне, сколько же на свете жить?

На этот раз она прокуковала мне пятьдесят лет. На душе стало легче, хотя и было тайное желание прожить почему-то сто двадцать лет…

Возвращались домой при сиянии звезды-вечерницы, при вызоренных небесах, по тихой росе. Всю дорогу мы молчали, опускали горячие лица в духмяную берёзовую листву и одним сердцем чувствовали: как хорошо жить, когда завтра земля будет именинница!

Приход Святой Троицы на наш двор я почувствовал рано утром, в образе солнечного предвосходья, которое заполнило нашу маленькую комнату тонким сиянием. Мать уставно затепляла лампаду перед иконами и шептала:

– Пресвятая Троица, спаси и сохрани…

Пахло пирогами, и в этом запахе чувствовалась значительность наступающего дня. Я встал с постели и наступил согретыми ночью ногами на первые солнечные лучи – утренники.

– Ты что в такую рань? – шепнула мать. – Спал бы ещё.

Я деловито спросил её:

– С чем пироги?

– С рисом.

– А ещё с чем?

– С брусничным вареньем.

– А ещё с чем?

– Ни с чем.

– Маловато, – нахмурился я, – а вот Гришка мне сказывал, что у них сегодня будет шесть пирогов и три каравая!

– За ними не гонись, сынок… Они богатые.

– Отрежь пирога с вареньем. Мне очень хочется!

– Да ты, сынок, фармазон, что ли, али турка? – всплеснула мать руками. – Кто же из православных людей пироги ест до обедни?

– Петро Лександрыч, – ответил я, – он даже и в Посту свинину лопает!

– Он, сынок, не православный, а фершал! – сказала мать про нашего соседа фельдшера Филиппова. – Ты на него не смотри. Помолись лучше Богу и иди к обедне.

По земле-именинице солнце растекалось душистыми и густыми волнами. С утра уже было знойно, и все говорили: быть грозе!

Ждал я её с тревожной, но приятной настороженностью – первый весенний гром!

Перед уходом моим к обедне пришла к нам Лида – прачкина дочка, первая красавица на нашем дворе, и, опустив ресницы, стыдливо спросила у матери серебряную ложку.

– На что тебе?

– Говорят, что сегодня громовый дождь будет, так я хочу побрызгать себя из серебра дождевой водицей. От этого цвет лица бывает хороший! – сказала – и зарделась пунцовой зорью.

Я посмотрел на неё, как на золотую Чашу во время Литургии, и, заливаясь жарким румянцем, с восхищением и радостной болью воскликнул:

– У тебя лицо как у Ангела-Хранителя!

Все засмеялись. От стыда выбежал на улицу, спрятался в садовой засени и отчего-то закрыл лицо руками.

Именины земли Церковь венчала чудесными словами, песнопениями и длинными таинственными молитвами, во время которых становились на колени, а пол был устлан цветами и свежей травой.

Я поднимал с пола травинки, растирал их между ладонями и, вдыхая в себя горькое их дыхание, вспоминал зелёные разбеги поля и слова бродяги Яшки, исходившего пешком всю Россию: «Зелёным лугом пройдуся, на сине небо нагляжуся, алой зоренькой ворочуся!»

После обеда пошли на кладбище поминать усопших сродников. В Троицын день батюшки и дьякона семи городских церквей служили на могилах панихиды. Около белых кладбищенских врат кружилась, верещала, свистела, кричала и пылила ярмарка. Безногий нищий Евдоким, сидя в тележке, высоким рыдающим голосом пел про Матерь Божию, идущую полями изусеянными и собирающую цветы, дабы украсить «живоносный гроб Сына Своего Возлюбленнаго».

Около Евдокима стояли бабы и, пригорюнившись, слушали. Деревянная чашка безногого была полна медными монетами. Я смотрел на них и думал: «Хорошо быть нищим! Сколько на эти деньги конфет можно купить!»

Отец мне дал пятачок (и в этом тоже был праздник). Я купил себе на копейку боярского квасу, на копейку леденцов (четыре штуки) и на три копейки «пильсинного» мороженого. От него у меня заныли зубы, и я заревел на всю ярмарку.

Мать утешала меня и говорила:

– Не брался бы, сынок, за городские сладости! От них всегда наказание и грех!

Она перекрестила меня, и зубы перестали болеть.

На кладбище мать посыпала могилку зёрнами – птицам на поминки, а потом служили панихиду. Троицкая панихида звучала светло, «и жизнь безконечная», про которую пели священники, казалась тоже светлой, вся в цветах и в берёзках.

Не успели мы дойти до дома, как на землю упал гром. Дождь вначале рассыпался круглыми зернинками, а потом разошёлся и пошёл гремучим «косохлёстом». От весёлого и большого дождя деревья шумели свежим широким говором, и густо пахло берёзами.

Я стоял на крыльце и пел во всё горло:

Дождик, дождик, перестань,
Я поеду на Иордань —
Богу молиться,
Христу поклониться.

На середину двора выбежала Лида, подставила дождю серебряную ложечку и брызгала милое лицо своё первыми грозовыми дождинками.

Радостными до слёз глазами я смотрел на неё и с замиранием сердца думал: «Когда я буду большим, то обязательно на ней женюсь!»

И чтобы поскорее вырасти, я долго стоял под дождём и вымочил до нитки свой новый праздничный костюм.

1936

Певчий

В соборе стоял впереди всех, около амвона. Место это считалось почётным. Здесь стояли городской голова, полицмейстер, пристав, миллионщик Севрюгин и дурачок Глебушка. Лохматого, ротастого и корявого Глебушку не раз гнали с неподобающего для него места, но он не слушался, хоть волоком его волоки! Почётные люди на него дулись и толкали локтем. Мне тоже доставалось от церковного сторожа, но я отвечал: «Не могу уйти! Здесь всё видно!»

Во время всенощного бдения или Литургии облокотишься на железную амвонную оградку, глядишь восхищёнными вытаращенными глазами на певчих, в таинственный дымящийся алтарь и думаешь: «Нет счастливее людей, как те, кто предстоит на клиросе или в алтаре! Все они приближённые Господа Бога. Вот бы и мне на эти святые места! Стал бы я другим человеком: почитал бы родителей, не воровал бы яблоки с чужих садов, не ел бы тайком лепёшки до обедни, не давал бы людям обидные прозвища, ходил бы тихо и всегда шептал бы молитвы…»

Я не мог понять: почему Господь терпит на клиросе Ефимку Лохматого – пьяницу и сквернослова, баса торговца Гадюкина, который старается людям победнее подсунуть прогорклое масло, чёрствый хлеб и никогда не дает конфет «на придачу»? Сторожа Евстигнея терпит Господь, а он всегда чесноком пахнет и нюхает табак. Лицо у него какое-то дублёное, сизое, как у похоронного факельщика.

В алтаре да на клиросе должны быть люди лицом чистые, тихие и как бы праведные!

Особенно любовался я нарядными голубыми кафтанами певчих. Лучше всего выглядели в них мальчики – совсем как Ангелы Божии!.. Хотя некоторых я тоже выгнал бы с клироса, например Митьку с Борькой. Они, жулики, хорошо в очко играют, и мне от них никогда не выиграть!

Однажды я заявил отцу с матерью:

– Очень мне хочется в алтарь кадило батюшке подавать или на клиросе петь, но как это сделать, не знаю!

– Дело это, сынок, простое, – сказал отец, – сходи сёдни или завтра к батюшке или к регенту Егору Михайловичу и изъяснись. Авось возьмут, если они про твоё озорство не наслышаны!

– Верно, сынок, – поддакнула мать, – попросись у них хорошенько. Господу хорошо послужить. В алтарь-то, поди, и не примут, а на клирос должны взять. Петь ты любишь, голос у тебя звонкий, с переливцем, яблочный… И нам будет радушно, что ты Господа воспевать будешь. Хорошую думу всеял в тебя Ангел Божий!

В этот же день я пошёл к соборному регенту. Около двери его квартиры меня обуял страх. Больше часа стоял у двери и слушал, как регент играл на фисгармонии и пел: «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть».

– Войдите!

Я открыл дверь и остановился на пороге. Егор Михайлович сидел у фисгармонии в одном исподнем, лохматый, небритый, с недобрым, помутневшим взглядом. Седые длинные усы свесились, как у Тараса Бульбы. На столе стояла сороковка, и на серой бумаге лежал солёный съёженный огурец.

– Тебе что, чадо? – спросил меня каким-то густо-клейким голосом.

– Хочу быть певчим! – заминаясь, ответил я, не поднимая глаз.

– Доброе дело, доброе!.. Хвалю. Ну-ка, подойди ко мне поближе… Вот так. Ну, тяни за мною «Царю Небесный утешителю».

Он запел, и я стал подтягивать, вначале робко, а потом разошёлся и в конце молитвы так взвизгнул, что регент поморщился.

– Слух неважнецкий, – сказал он, – но голос молодецкий! Приходи на клирос. Авось обломаем. Что смотришь, как баран на градусник? Ступай. Аксиос! Знаешь, что такое «аксиос»? Не знаешь. Слово сие – не русское, а греческое, обозначает: «достоин».

Обожжённый радостью, я спросил о самом главном, о том, что не раз мечталось и во сне снилось:

– И кафтан можно надеть?

– Какой? – непонялрегент. – Тришкин?

– Нет… которые певчие носят… эти, голубые с золотыми кисточками.

Он махнул рукой и засмеялся:

– Надевай хоть два!

В этот день я ходил по радости и счастью. Всем говорил с упоением:

– Меня взяли в соборные певчие! В кафтане петь буду!

Кому-то сказал, перехватив через край:

– Приходите в воскресенье меня слушать!

Наступило воскресенье. Я пришёл в собор за час до обедни. Первым делом прошёл в ризницу облачаться в кафтан. Сторож, заправлявший лампады, спросил меня:

– Ты куда?

– За кафтаном! Меня в певчие выбрали!

– Эк тебе не терпится!

Я нашёл маленький кафтанчик и облачился. Сторож опять на меня:

– Куда это ты вырядился ни свет ни заря? До обедни-то, почитай, целый час ещё!

– Ничего. Я подожду.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.